

САШКА

Всем воевавшим подо Ржевом — живым и мертвым — посвящена эта повесть

1

К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края рощи прилеплен был к ели редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги занемяют, но наблюдать надо было безотрывно.

Сектор Сашкиного обзора не маленький: от подбитого танка, что чернеет на середине поля, и до Панова, деревеньки махонькой, разбитой вконец, но никак нашими не достигнутой. И плохо, что роща в этом месте обрывалась не сразу, а сползала вниз мелким подлеском да кустарником. А еще хуже метрах в ста поднимался взгорок с березняком, правда, не частым, но поле боя пригораживающим.

По всем военным правилам надо бы пост на тот взгорок и выдвинуть, но побоязничали — от роты далековато. Если немец перехватит, помощи не докличешься, потому и сделали здесь. Прогляд, правда, неважный, ночью каждый пенё или куст фрицем оборачивается, зато на этом посту никто во сне замечен не был. Про другие того не скажешь, там подремливали.

Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный: то у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт, видно, и вправду недужный, да и ослабший от голодухи, ну и возраст сказывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запаса, в летах, тем тяжко.

Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтоб немцы огонек не заметили, и стал думать, как ему свое дело ловчее и безопаснее сделать — сейчас ли, пока не затемнело совсем и ракеты не очень по небу шаркают, или на рассвете?

Когда наступали они днями на Паново, заметил он у того взгорка мертвого немца, и больно хороши на нем были валенки. Тогда не до того было, а валенки аккуратные и, главное, сухие (немца-то зимой убило и лежал он на верховине, водой не примоченной). Валенки эти самому Сашке не нужны, но с ротным его приключилась беда еще на подходе, когда Волгу перемахивали. Попал тот в полынью и начерпал сапоги доверху. Стал снимать — ни в какую! Голенища узкие стянулись на морозе, и, кто только ротному ни помогал, ничего не вышло. А так идти — сразу ноги поморозишь. Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на смену. Пришлось согласиться, голенища порезать по шву, чтоб сапоги стащить и произвести обмен. С тех пор в этих валенках ротный и плавает. Конечно, можно было ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует, либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто недосуг с этим возиться.

Место, где фриц лежит, Сашка заметил, даже ориентир у него есть: два пальца влево от березки, что на краю взгорка. Березу эту пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая — откладывать ничего нельзя.

Когда напарник Сашкин отряхнулся в шалаше, накашлялся вдосыть и вроде заснул, Сашка курнул наскоро два разка для храбрости — что ни говори, а вылезать на поле, холодком обдувает — и, оттянув затвор автомата на боевой взвод, стал было спускаться с пригорка, но что-то его остановило... Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: не делай этого. Так было с Сашкой зимой, когда окопчики снежные еще не растаяли. Сидел он в одном, сжался, вмерзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг... елочка, что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей. И стало Сашке не по себе, махнул он из этого окопа в другой. А при обстреле в это самое место мина! Останься Сашка там, хоронить было б нечего.

Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и все! Отложу-ка на утро, подумал он и начал взбираться обратно.

А ночь плыла над передовой, как обычно... Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и минами земле... Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада... Как обычно... Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что непохожа война на то, что представлялось им на Дальнем Востоке, когда катила она свои волны по России, а они, сидя в глубоком тылу, переживали, что идет война пока мимо них, и как бы не прошло совсем, и не совершить им тогда ничего героического, о чем мечталось вечерами в теплой курилке.

Да, скоро два месяца минет... И, терпя ежечасно от немцев, не видел еще Сашка вблизи живого врага. Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые, не видать в них было никакого движения. Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки, которые, контратакуя, перли на них, урча моторами и поливая их пулеметным огнем, а они метались на заснеженном тогда поле... Хорошо, наши сорокапятки затыкали, отогнали фрицев.

Сашка хоть и думал про все это, но глаз от поля не отрывал... Правда, немцы сейчас их не тревожили, отделялись утренними и вечерними минометными налетами, ну и снайперы постреливали, а так вроде наступать не собираются. Да и чего им тут, в этой болотной низинке? До сих пор вода из земли выжимается. Пока дороги не пообсохли, вряд ли поперет немец, а к тому времени сменить их должны. Сколько можно на передке находиться?

Часа через два пришел сержант с проверкой, угостил Сашку табачком. Посидели, покурили, побалакали о том о сем. Сержант все о выпивке мечтает — разбаловался в разведке, там чаще подносили. А Сашкиной роте только после первого наступления богато досталось — граммов по триста. Не стали вычитать потери, по списочному составу выдали. Перед другими наступлениями тоже давали, но всего по сто — и не почувствуешь. Да не до

водки сейчас... С хлебцем плохо. Навару никакого. Полкотелка жидни пшенки на двоих — и будь здоров. *Распутица!*

Когда сержант ушел, недолго и до конца Сашкиной смены. Вскоре разбудил он напарника, вывел его, сонного, на свое место, а сам в шалашик. На телогрейку шинелишку натянул, укрылся с головой и заснул...

Спали они тут без просыпу, но Сашка почему-то дважды ото сна уходил и один раз даже поднялся напарника проверить — ненадежный больно. Тот не спал, но носом клевал, и Сашка потрепал его немножко, встряхнул, потому как старший он на посту, но вернулся в шалаш какой-то неуспокоенный. С чего бы это? Подсасывало что-то. И был он даже рад, когда пришел конец его отдыха, когда на пост заступил, — на самого себя надежи-то больше.

Рассвет еще не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать — так, реденько, одна-другая в разных концах поля. Но Сашку это не насторожило: надоело пулять всю ночь, вот и кончили. Это ему даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается...

До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до березы, а вот тут незадача... Расстояние в два пальца на местности в тридцать метров обернулось, и ни кустика, ни ямки какой — чистое поле. Как бы немец не засек! Здесь уж на пузе придется, ползком...

Сашка помедлил малость, обтер пот со лба... Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались — и за лето не просушить, а тут сухенькие наденет и походит в сухом, пока ему сапоги со склада не доставят... Ладно, была не была!

Без остановки дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит! То, что приходится мертвого тела касаться, его не смущало — попривыкли они к трупам-то. По всей роще раскиданы, на людей уже не похожие. Зимой лица их цвета не покойнического, а оранжевого, прямо куклы какие, и потому Сашка брезговал не очень. И сейчас, хотя и весна, лица их такими же остались — красноватыми.

В общем, лежа снять с трупа валенки не получалось, пришлось на колени привстать, но тоже не выходит, тянется весь фриц за своим валенком, ну что делать? Но тут смекнул Сашка упереться ногой в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошел... Значит, один есть.

Небо на востоке зажелтилось немного, но до настоящего рассвета еще далеко — так, еле-еле начинало вокруг кое-что проглядываться. Ракеты немцы совсем перестали запускать. Все же перед тем, как за второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно все, можно снимать. Снял и пополз быстро к взгорку, а оттуда меж осинок и кустов можно и в рост без опаски до своего шалашика.

Только подумал это Сашка, как завыло над головой, зашелестело, а потом грохнули разрывы по всей роще, и пошло... Что-то рановато сегодня немцы начали. С чего бы так?

Со взгорка сполз он в низинку и залег под кустом. В рощу возвращаться сейчас незачем, там все в грохоте, треске, в дыму и гари, а сюда немец не бьет. Опять подумалось: неспроста в такую рань начали, и обстрел большой — рвутся мины одна за другой, пачками, будто строчит очередь какой-то

здоровенный пулеметище. А вдруг наступать, гады, надумали? Эта мысль обожгла, но заставила Сашку глядеть в оба. В роще-то теперь под таким обстрелом вдавились все в землю, им не до наблюдения.

Вот заразы так заразы! Все не перестают! И верно, такого налета Сашка не помнит, уж больно силен и долог. Глянул назад, и впрямь творится там страшное — разрывы по всему лесу, взмываются вверх комья земли, падают вывороченные с корнем деревья. Как бы не побил всех. Сашке даже неловко стало, что оказался он случайно в безопасности, от своей роты в отрыве, но валенки рукой погладил.

Курнуть захотелось смертно, и Сашка начал крутить сигарку, глаза на миг от поля отведя, а когда поднял их — обомлел!

Из-за взгорка поднимался громадный немец... Огляделся и дал сигнал рукой остальным, еще не видимым Сашкой: дескать, можно идти. Высунулись еще двое, такие же огромные, — сперва головы в касках, потом в полтуловища, а потом и во весь рост...

Сигарка у Сашки выпала из рук, дыхание перехватило, сердце провалилось куда-то, тело зацепенело — ни рукой, ни ногой не двинуть. А немцев тем временем прибавлялось — то здесь, то там появлялись. Большие, серые, размытые предутренней дымкой, страшные...

И Сашка понял, не выдержит он сейчас, поднимется, заорет благим матом «немцы» и бросится бежать в рощу, к своим, лишь бы не быть одному. Уже напряглось тело, уже растянулся рот... Но тут услышал он приглушенную команду «форвертс, форвертс», которую немцы исполнили не сразу, а заколебавшись. И вот эта минутная заминка у них, безохотное выполнение приказа дало Сашке время прийти в себя, и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошел с него.

Двигались немцы осторожно, с опаской, и это дало Сашке мысль: побаиваются они тоже, разве знать им, сколько русских в роще и что ждет их здесь? И это вдруг успокоило Сашку, голова заработала, мысли не пересекали друг друга, а стали строиться в ряд — что делать сначала, что потом... Наперво поглядел он назад и выбрал место поукрытистей, да не одно, а два, потом, привстав на колено, чтоб видеть лучше, резанул длинной очередью по немцам и сразу побежал к намеченному кусту, тут он опять с колена дал веерок трассирующих, перекатился в сторону, а уж оттуда что есть мочи бросился в рощу.

Здесь только услышал он ответную пальбу, крики, свист, улюлюканье и треск разрывных пуль вокруг, а оглянувшись, увидел — немцы бежали вовсю, раскрыв рты, прижав автоматы к животу...

Сашка влетел в рощу, крича «немцы! немцы!», чтоб упредить своих, и тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо:

— Много их? Много?

— Много! — выдохнул Сашка.

— Беги передай — всем за овраг! Там залечь и ни шагу!

— А вы?

— Беги! — повторил ротный, и Сашка побежал.

И верно, подумал Сашка, принимать бой здесь, когда немцы вошли уж в рощу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое, там немцы, если попрут, на виду будут, там и прищучить можно, ну и вторая рота поможет.

В середине пятачка столпилась их битая-перебитая рота около раненного в ногу политрука. Тот размахивал карабином и кричал:

— Ни шагу! Назад ни шагу!

— Приказ ротного — отойти за овраг! — крикнул Сашка. — А оттуда ни шагу!

Этого будто и ждали, побежали резво, откуда силенки взялись, а политрук, побелевший, скривившийся от боли, растерянно глядел, как неслась схваченная паникой рота.

Один из бойцов, коренастый татарин, нагнулся над политруком, схватил под мышки и потянул к ручью. Сашка подмогнул ему, а потом, спешно подзарядив диск, бросился туда, где остался ротный. Опять столкнулись они, чуть не сбив друг друга с ног.

— Попридержи их! — прохрипел ротный и, пустив короткую, видать, из последних патронов, очередь, миновал Сашку.

Схоронившись за ель, Сашка водил стволом автомата, пуская длинные очереди, но его выстрелы тонули в резких и звонких хлопках разрывных, которыми была наполнена роща. Да и обычные пули взрывали совсем рядом, сбивая ветви елей, взрыхляя землю вокруг. Стало Сашке страшно — как бы не ранило! Тогда хана! Тогда к немцам попадешь запросто. И, не расстреляв всех патронов, Сашка метнулся назад.

За оврагом командовал сержант, останавливая не в меру разбежавшихся. Теперь-то к политруку подбежали человек пять и, пожалуйста, готовы нести в тыл его хоть на руках. Но он, ругаясь, гнал их от себя, посылая в оборону, а потом и подоспевший ротный разметал всех по местам.

Немцы к тому времени неожиданно замолкли ни стрельбы, ни криков, ни свиста...

И рота, занявшая оборону кто за деревом, кто за кустиком, кто в окопчике для стрельбы лежа (были тут такие, неизвестно кем копанные), — тоже притихла в напряженном ожидании, что вот-вот начнут выползть фашисты и пойдет уже настоящий бой. Лица были хоть и бледные, но живые, хоть и со сдвинутыми бровями и сжатыми ртами, но не испуганные, не такие, как при налетах и бомбежках, когда нету другого спасения, как вжась в матушку-землю... Тут враг был рядом и, главное, их оружием доступный — и пуле, и гранате, и штыку, — а стало быть, от них самих зависит, как этот бой провести.

Но немцы не выходили... И тишина, такая неожиданная после грохота сегодняшнего утра, тяготно давила на них ожиданием неизвестного и страшного, что вот-вот должно сейчас произойти, и потому, когда взорвалась она не громом выстрелов, не криками немцев, а хриплым и жалким:

— Братцы, помогите... Братцы... — они растерялись, и даже ротный выкрикнул не сразу:

— Сержант! Все люди на месте?

— Вроде все... — не враз, а сперва приподнявшись и глазами пересчитав людей, ответил сержант не особо уверенно.

— Точнее!

Сержант еще раз огляделся, помедлил малость с ответом, но подтвердил:

— Все, товарищ командир.

— Провокация... — процедил ротный. — Передать по цепи: без команды не стрелять!

Сашка тоже вертел головой, стараясь разглядеть, все ли на месте, потому как голос этот ему знакомым показался, но ребята затаились, замаскировались, кто как мог, не разглядишь. Да и кто мог там остаться, такой огонь проспать, такой шум?

— Братцы... — донеслось опять оттуда, еще более хриплое, придушенное, и снова тяготящая тишина нависла над ними.

И вдруг другой голос — молодой, какой-то торжествующий и даже приятный на слух — прокричал им:

— Товарищи! Товарищи! Бросайте оружие, закурим сигареты! Товарищи...

— Ух, лярвы, — проскрежетал Сашка. — Знают, сволочи, что мы без курева...

А приятный голос продолжал уговаривать настойчиво:

— Товарищи! В районах, освобожденных немецкими войсками, начинается посевная. Вас ждет свобода и работа. Бросайте оружие, закурим сигареты...

Они продолжали слушать, ничего не понимая, стараясь разгадать, какую игру ведут с ними немцы, пока ротный не поднялся с перекошенным лицом и не закричал каким-то не своим голосом:

— Это разведка! Ребята, их мало! Это разведка! Их мало! Вперед! — и бросился через ручей без огляда, бегут ли за ним люди.

Но люди побежали, растянув рты в «ура» и недружно стреляя редкими выстрелами из винтовок и короткими очередями из ППШ, а за ними и Сашка, который, вскоре обогнав ротного, заглянул тому в лицо, увидел, как растерянно оно, потому как взводит он на ходу затвор автомата, а тот не стреляет. Смекнул Сашка, что ротный расстрелял свой диск, а сообразить это не может и недоумевает. Отцепил он с ремня свой диск и сунул в руку ротному. Тот кивнул благодарно, и побежали они дальше... А за ними, шумно дыша, матюгаясь, топала их рота, а за нею и подоспевшая вторая.

Хоть и впервые Сашка столкнулся так близко с немцами, страха он почему-то не ощущал, а только злость и какой-то охотничий вспыл — настичь немцев непременно и перестрелять их, когда они на поле высыпаются и будут видны как на ладони, а он с того взгорка, у которого сегодня фрица искал, будет резать по ним трассирующими... Вот будет им закурка! А то «закурим сигареты»! Вот гады! В таком раже обогнал Сашка ротного, который задерживался, подтягивая людей, и проскочил уже больше половины их леска, не встречая ни немцев, ни их стрельбы ответной. Странно что-то... Но тут недолго и до края, а там уже будут на виду немцы, деться им некуда, обратный путь через поле, другого нету. И жал Сашка из последних сил, пока не рассекся над ним воздух нарастающим, выворачивающим душу воем. И уже по нему понял Сашка: не одна, не две летят мины, а целая стая. И впрямь грохнули разрывы по всей роще, а особенно густо перед краем. Стали стеной

перед Сашкой, огненными кустами. Пришлось брякнуться на землю, и, падая, понимал он: отрезают немцы их от своей разведки, которая спокойненько уходит сейчас восвояси. И так обидно стало — уйдут, заразы, безнаказанно, — что Сашка поднялся и рванул через огонь. Когда бежал сквозь разрывы, страшно не было, а когда добежал до опушки и залег, пробрала дрожь. Отсюда и взгорок виден, и часть поля, но немцев не было. Куда же они, сволота, делись? Как сквозь землю провалились!

И Сашка уже просто так, чтоб выплеснуть злобу и обиду, пустил длинную очередь наобум, пока не заглох ППШ. Тут только опомнился — запасного диска-то нет, ротному отдал...

А минометный огонь подползал сзади, к опушке, и пришлось Сашке вперед податься, чтоб от него уйти. Опять он от роты оторвался, но что делать, немцев-то они упустили, как ни верти. Обидно очень. Только раз за эти месяцы выпал им случай поквитаться с фрицем, ан нет, не вышло! Матюгнулся Сашка, но что-то ему говорило, не все еще кончилось. Может, податься ему к тому взгорку, может, застанет еще немцев на поле? Но что он один да с пустым диском? Но, когда услышал Сашка, как кричит сзади ротный, поднимая людей, видно стараясь прорваться с ними через огонь, решил и он продвинуться подальше и приподнялся... Но тут же просвистевшая над ним автоматная очередь бросила его наземь.

Откуда? Значит, тут еще немцы? Сашка быстро отполз чуток в сторону и осторожно поднял голову, чтоб оглядеться, и чуть было не вырвался у него вскрик: «Стой, мать твою! Хальт!» Впереди метнулось что-то серое и скрылось. Непослушными пальцами расстегнул Сашка чехол «лимонки», а когда вынул ее и прихватил пальцем кольцо, зашептал:

— Теперь не уйдешь, гад... Не уйдешь...

Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрестанно налезавшую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его от поля.

Немца было не видать. Залег, наверно, а всего скорее — ползет он к взгорку. Теперь кто кого опередит.

Кадровый боец, Сашка полз умело, не приподнимая зада, полз споро и потому решил: если немец лежит на месте, то должен он его уже обойти, а если тот тоже ползет, то сравняться по крайней мере. Приподняться Сашка боялся — немец, наверно, нет-нет да оглядывается. Если заметит, то резанет из автомата, и потому приходилось двигаться вслепую — какой обзор у ползущего?

То, что патронов у него нет, Сашка помнил и, на что идет, понимал, но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца, а скольких ребят из разведки положили, пока за «языком» лазили, Сашка знал.

Сполз он уже в низинку, и теперь, как немец на взгорок поползет, будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка пока не знал.

Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешкав и секунды, бросился Сашка вдогон и хотел было метнуть гранату вслед — достал бы! — но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живьем нужен. Судя по тому, что отстал фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный... Эти мысли

пробежали в Сашкиной голове, пока он за немцем гнал, но главной была: не дать уйти тому на поле — там его не взять, там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы запросто.

А до взгорка считанные метры! Пока они здесь, в низинке, надо и действовать! На Сашкино счастье, не обернулся фриц ни разу, знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои, а насчет Сашки думал небось, что прибил его своей очередью... Раздумывать больше некогда! Сделал Сашка хороший замах и бросил «лимонку» с расчетом, что упадет она впереди немца и тот, увидя ее, бросится наземь, тут Сашка и навалится...

Так и вышло... В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг рванулась граната, просвистели осколки, обсыпало Сашку землей, но он крепко прижал правой рукой фрицевский «шмайссер», а левой сбоку что есть силы ударил немца по виску, благо был тот без каски, а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и стал он под Сашкой изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал барахтаться. Но все же чуял Сашка, немец не сильнее его, и, кабы не маета их двухмесячная, смял бы он его быстро. Пахло от немца каким-то чужим запахом: и табаком не таким, и одеждой другой, и даже потом другим... Лица его Сашка не видел, только затылок и шею, не особо толстую, которую он отпустил на секунду, чтоб трахнуть еще раз левой по виску. Но удара не получилось — дернулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину и держал крепко, не вырвать... Теперь вправо немного немец повернулся и часть его лица показалась. Молодой был и курносый, чему Сашка удивился — в роще все больше длинноносые лежали. Обезручил Сашка — одна рука немцем прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет, вывернуться из-под Сашки.

Хоть бы подоспел кто. Но звать на помощь Сашка не стал — метался сзади минометный отрезающий огонь, как бы не прибило кого, если начнут пробиваться. Беспокоился Сашка, конечно, за ротного. Тот у них такой, побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью обязан, природнились за эти месяцы страшные.

Не успел Сашка это подумать, как услышал сквозь разрывы голос ротного:

— Сашка! Где ты? Сашка!

Не ответить было нельзя, и он откликнулся:

— Здесь я, командир! Фрица прижал!

— Иду! Не выпускай, Сашок!

«Догадался ротный, что без патронов я», — с теплотой подумал Сашка, но немец враз стал выворачиваться, пытаясь скинуть его, и пришлось рискнуть — оторвать руку от фрицевского «шмайссера»... Удар, который нанес Сашка правой по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистей, приговаривая:

— Ну что? Не ушел, зараза! Теперь все, капут!

Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом так же резко сорвал с пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя.

— Теперь все, можешь отпустить... — сказал он Сашке, и тот отвалился от немца влево. И лежал фриц между ними уже обезоруженный, плененный уже окончательно. — Молодец, Сашок! Как это вышло? — спросил ротный.

— А шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я к краю проскочил — никого. Ну, думаю, упустили фрицев. Потом приподнялся... — Но тут Сашке пришлось умолкнуть.

Заметили их, видно, разглядели в бинокли, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение — если прибьют, то с немцем заодно. Близко рвались мины, взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты, и все это носилось над их головами, потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую, прошлогоднюю траву... Но все это было привычное, испытываемое ими каждодневно и потому особого страха не вызывало и не могло забить того радостного, что ощущалось, — ведь первого немца взяли!

Захотелось Сашке курить, прямо невмочь, и стал он сворачивать сигарку.

— И мне сверни, — попросил ротный.

Немец вроде с любопытством смотрел, как рвет Сашка газетку, насыпает махру, сворачивает недрожащими пальцами, спокойно прислуживает, и все это под огнем, когда то здесь, то там рвутся мины, свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, делал это еще неспешней, еще размеренней — дескать, плевать мы хотели на ваш огонь... Но еще большее удивление, если не сказать — недоумение, вызвало у немца то, как Сашка, вынув кресало и трут — «катюшей» они это называли, — начал выбивать искру, а она, как назло, то не выбивалась, то выбивалась слабая, и трут никак не загорался. Тогда немец заворочался, полез в карман... Ротный его руку, лезшую в карман, прихватил, но тот зажигалку вынул и протянул ее лейтенанту.

Ротный обмундированием от Сашки не отличался: такая же телогрейка, грязью заляпанная, ремня широкого командирского ему еще не выдали, такое же оружие у него солдатское — автомат. Только маленький кубарь в петлицах отличает его, но немец рассмотрел.

Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. Был он вроде бы Сашкин одноклассник, лет двадцати — двадцати двух, курносый и веснушчатый, на вид прямо русский. Напомнил он Сашке лицом одного его друга деревенского — Димку. Тот чуть поскуластей был и поплотнее. С Димкой Сашка в борьбе не справлялся, и была у них либо ничья, либо бывал Сашка побежденным.

Ротный взял зажигалку, чиркнул, прикурил и дал огня Сашке. Улыбнувшись, сказал:

— Гляди, какие мы вежливые, — повертел зажигалку, рассматривая, и подал ее обратно немцу.

— Хорошая зажигалка, — сказал Сашка и добавил: — Все не кончат никак, заразы. Прибьют тебя свои же, фриц. Ферштеен?

Немцу было не до «ферштеен» — кровь из носа хлестала не переставая, и весь платок, который он прижимал к лицу, был красный. Есть такие, подумал Сашка, чуть до носа дотронешься — и сразу кровь. Видно, немец из таких. Правда, ударил Сашка не жалея кулака, до сих пор костяшки пальцев ноют. Кабы не обстрел, перевернули бы немца на спину, может, кровь и перестала, но сейчас не до того — ужались в землю, аж до боли в животах, скорее бы пронесло...

— Может, рванем, товарищ командир? — предложил Сашка, но ротный покачал головой: порядочно до рощи, могут пулеметом прихватить, место-то открытое.

Но вот наконец начинает сбавлять силу налет, редчают разрывы, тихнет вой над головой... Чавкнули в стороне две мины, видать, последние, и затихло все.

Они пролежали еще немного, докуривая, потом ротный сказал что-то фрицу по-немецки и, прихватив его руку, резко поднялся, за ним немец, потом и Сашка. И все трое ходу, без перебежек, в свою рощу. Хоть и нет там ничего — ни укрытий, ни окопов, ни щелей, только шалашики, — но попривыкли к ней, словно дом родимый...

Влетели, запыхавшись, а их уже встречают. Стабунилась рота около сержанта, и стыда не заметно, что не помогла, а отлеживалась, пока Сашка с ротным немца брали. И сразу к немцу поближе, оглядывают, любопытничают.

Немец стоял потупившись, переминаясь с ноги на ногу, руки длинные болтались как-то потерянно, но страха особого не выказывал. Был он без шинелишки, в сереньком мундирчике с погонами, в коротких сапогах, довольно побитых, с аккуратной заплатой на голенищах. Роста он был повыше Сашки. Лицо в грязи и крови. Воротник мундира в красных разводах.

— Ранен он, что ли? — спросил один из бойцов.

— Да нет. Это я по носу его вдарил, — не без гордости ответил Сашка.

Подошел к ротному сержант, пробормотал виновато:

— Простите, товарищ командир. Сплошали. Отрезал немец. И хотим к вам пробиться, да через огонь не перескочишь. Больно густо бил.

— Ладно, — вроде добродушно ответил ротный, но сержант подошел ближе и шепнул что-то. Ротный нахмурился, помрачнел и скомандовал Сашке резко: — Веди немца ко мне.

Но тут один из бойцов, недавно к ним прибывший из пополнения, но быстро здесь освоившийся, озорной такой парень, сказал немцу с вызовом:

— Ну что, фриц... Манили нас сигаретами, так давай закуривать.

Немец понял и вытащил из кармана небольшой портсигар и протянул его ротному, но без суеты и подобострастия. Ротный отказался. Тогда Сашке. Но тот тоже отрицательно помотал головой — раз ротный не берет, и он не будет. Немец отвел руку с открытым портсигаром к ребятам, те брезговать не стали, навалились, и фрицевский портсигар мигом опустел, да и было там сигарет восемь. Только один замахнулся на немца:

— Да иди ты, гнида, со своими сигаретами!

Остальные задымили вдумчиво, не спеша, оценивая немецкий табачок, и вроде не одобрили — крепости мало, с нашей «моршанской» не сравнить.

После этого повел Сашка немца к землянке ротного (выкопали ему недавно через силу, вышла не ахти, но все ж не шалашик) и там остановился. Немец все прижимал платок к носу, но, видимо, кровь пошла на убыль. Ротный пришел скоро, в глазах былой радости нет, озабоченный чем-то, смурной...

— Забрали у нас немцы одного раззяву, Сашок...

— Неужто? Это, верно, напарника моего, с кем на посту стоял... Когда «братцы» кричал, чую, голос знакомый, а чей, не пойму. Эх, негораздь какая!

— Это очень плохо, — сказал ротный серьезно.

— Достанется вам?

— Не в этом дело, — махнул рукой ротный и приказал немцу спускаться в землянку.

Сашка слышал, как балакают они что-то по-немецки. Потом крутил ротный телефон и разговаривал с помкомбата.

Привалился Сашка к пеньку, вытянул ноги и только тут почувствовал охватившую тело усталость и тянущее изнутри ощущение пустоты в желудке, которое прихватывало их всех по несколько раз на день.

Немец вылез из землянки красный, со сжатыми упрямо губами и какими-то ошалелыми глазами, а ротный, наоборот, побледневший и злой.

— Вот тебе рапорт начальнику штаба. Ну, и сам расскажешь, как все было. И веди немца.

— В штаб?

— Да. И смотри, чтоб не случилось чего с немцем. Он мне главного ничего не сказал.

— Во паразит, — удивился Сашка.

— Перехитрили они нас. Пока мы, раскрыв рты, их болтовню слушали, остальные уходили с этим... раззявой. Этот фриц, которого ты взял, прикрывал переводчика. Вот такие дела. Понял?

— Вот гады, — пробормотал Сашка. — Кто бы мог подумать...

— Ну, ладно, после драки кулаками не машут. Иди, — ротный махнул рукой, а Сашка, сменивший уже диск в автомате, щелкнул затвором и скомандовал немцу «комм».

Немец поежился от звука взводимого затвора и пошел, поначалу часто оборачиваясь на Сашку, видно боясь, что тот может стрелкнуть ему в спину. Сашка это понял и сказал наставительно:

— Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем.

Немец, опять посеревший, сморщил лоб, стараясь понять, что толкует ему Сашка, который, видя это, добавил:

— Мы, — ударил он себя в грудь, — нихт шиссен тебя, — уставил палец на немца. — Ферштеен?

Теперь тот понял, кивнул головой и пошел резвее, посматривая по сторонам. Изредка недоуменно пожимал плечами, покачивал головой, а иногда чуть кривился в улыбке. Это, как понял Сашка, дивился он никудышной нашей обороне. А чего дивиться? Мог бы рассказать Сашка, как с ходу после ночного марша бросили их в атаку на Овсянниково, да не раз и не два... Потом каждый день ожидали — сегодня опять идти в наступление. Чего ж перед смертью мучиться, окопы в мерзлой земле колупать? Земля — как

камень. Малой саперной лопатой разве одолеешь? Потом, в апреле, водой всю рощу залило, каждая махонькая воронка ею наполнилась. Ну, а сейчас, когда пообсохло малость, силенок уже нет, выдохлись начисто, да и смену со дня на день дожидаем. Чего тут рыть? Придут свеженькие, пусть и роют себе... Но немцу этого не расскажешь, да и незачем тому это знать... Просто взял Сашка левее сразу, в глубь леса, чтоб миновать расположение второй роты, хотя и хотелось ему форснуть перед знакомыми ребятами своим немцем.

Здесь, в роще, много наших, советских, листовок было разбросано, когда немцы еще тут находились. Пользовали их на завертку самокруток, на розжиг костров и еще кое для чего. В одной они разобрались без труда: была там таблица, сколько немцы в нашем плену продуктов получают. «Брот» — столько-то, «буттер» — столько-то и всего прочего столько-то... Выходило богато! Особенно в сравнении с тем, что они сами сейчас здесь получали. Даже обидно стало. Начальника продснабжения бригады без матерка не поминали, но, когда в апреле концентрат-пшенку получили с отметкой на этикетке, что выпущена она в марте месяце, задумались...

Так вот, сейчас попалась на глаза Сашке эта листовочка, поднял он ее, расправил и дал немцу — пускай успокоится, паразит, и поймет, что русские над пленными не издеваются, а кормят дай бог, не хуже своих.

Немец прочел и буркнул:

— Пропаганден.

— Какая тебе пропаганда! — возмутился Сашка. — Правда это! — Немец еле заметно пожал плечами, а Сашка, не успокоившись, продолжал: — Это у вас пропаганда! А у нас правда! Понял? Мог я тебя прихлопнуть? Мог! Гранату под ноги — и хана! Валялся бы сейчас без ног и кровью исходил. А я не стал! А почему? Потому как люди мы! А вы фашисты!

— Их бин нихт фашист, — сказал немец.

— Ну да, рассказывай... Скажи — Гитлер капут! Скажи! — Немец молчал. — Вот зараза так зараза! Значит, фашист, раз молчишь.

— Их бин нихт фашист, — упрямо повторил немец. — Их бин дейче зольдат. Их бин дейче зольдат.

— Заладил — зольдат, зольдат... А ну тебя! — махнул рукой Сашка. — Что я, с тобой политбеседу проводить буду! Пропади ты пропадом!

Немец листовку все же не бросил, а, сложив аккуратно, положил в карман мундира.

Встречались на передовой и другие наши листовки. На одной была фотография девушки в белом платье с аккордеоном, а рядом парень в гражданском, и написано было: «Немецкий солдат! Этот счастливый час не вернется для тебя, если ты не сдашься в плен...» Ну и, конечно, что будет обеспечена жизнь, возвращение домой после войны и прочее... Эту листовку ротный им перевел. Вот эту бы немцу дать почитать, но что-то ее по дороге не попадалось.

То, что немец не стал повторять «Гитлер капут», вначале разозлило Сашку, но, поразмыслив, он решил, — значит, немец не трус, не стал ему поддакивать. А раз так, победа над ним показалась Сашке более значительной. Разве уж таким дуриком он взял его? Все же проявил смекалку

и красноармейскую находчивость. И, что ни говори, смелость. Ведь с пустым диском немца догонял.

Прошли они почти половину пути... Эти две версты до штаба последнее время Сашка без передыха не осиливал. Ходил всегда через вторую роту, там и делал перекур, чтоб поболтать со знакомыми. Правда, почти совсем не осталось однополчан-дальневосточников, один-два на роту...

И теперь, почувствовав слабинку в ногах, решил Сашка приостановиться и малость передохнуть. Должна быть тут недалеко большая воронка, а около поваленное взрывом дерево. Вот на нем и посидеть можно. Забыл только Сашка, что рядом лежат там еще не захороненные убитые, а немцу смотреть на них ни к чему. Но было уже поздно сворачивать, подошли вплотную.

Воронка была доверху наполнена черной водой, в которой плавали желтые прошлогодние листья, обертки от махорки и табака «Беломор», какие-то тряпки, бинты. Тут можно и в порядок себя привести, обмыться да почиститься. В штаб же идут, не куда-нибудь.

Сашка первым набрал в ладони воды, плеснул на лицо и жестом пригласил немца последовать его примеру. Тот постоял, посмотрел на застойную воду, поморщился, потом взял свой окровавленный носовой платок, пополоскал его и стал вытирать лицо и воротник мундира. Сашка после умывания стал свою телогрейку отряхивать, грязь с брюк счищать и даже попытался налипшую глину с ботинок соскрести и все норовил перед немцем быть, загораживая телом полянку, на которой и лежали наши.

Немец, глядя на Сашку, тоже стал отряхиваться. Закончив приводить себя в порядок, Сашка присел на ствол поваленного дерева и сказал:

— Передохнем, фриц... — и стал наскребать из кармана махру, но немец, присевший рядом, не замедлил вытащить смятую пачку с несколькими сигаретами и предложил Сашке. — Попробуем вашего табачку, — не отказался Сашка.

Немец чиркнул зажигалкой, поднес огонек. Задымили...

Жаль, немецкого не знаю, подумал Сашка, поговорил бы... Многое можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в семилетке, все выветрились, призабылись, а если и всплывали в памяти какие, то не те, которые нужны. Вертелся в голове какой-то «Геноссе Купфербарт» из учебника, а вот спросить, какая у них в Овсянникове оборона, сколько народа, сколько орудий и минометов, слов нет. Не то учили, зубрили стишки какие-то. И для чего? А многое было Сашке любопытно: и как у немцев с кормежкой, и сколько сигарет в день получают, сколько рому, и почему перебоев с минами нет, да мало ли что можно было спросить?

Про свое житье-бытье Сашка, разумеется, рассказывать бы не стал, хвалиться пока нечем. И со жратвой туго, и с боеприпасами. Но это все временное, далеко от железной дороги оторвались, распутица. Еще стояли в Сашкиных глазах газетные январские фотографии, когда гнали немцев от Москвы, — и трупы их замерзшие, и техника брошенная, и какие они были жалкие, в бабы платки закутанные, с поднятыми воротниками жидких шинелишек... Какие у них шинели хлипкие, Сашка знает, просвечивают насквозь, с нашими не сравнять.

Тут немец кинул случайно взгляд на поляну, покачал головой и залопотал что-то по-своему, из чего только «шлехт... зэр шлехт» Сашке было понятно. Сам знает Сашка, что плохо, но нету силенок ребят хоронить, нету... Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах. Но немцу об этом не скажешь, он и так нагляделся предостаточно на то, на что ему глядеть не положено.

А немец, подняв две веточки с земли, обломил их, соединил крестом, показывая Сашке, как хоронят они своих. Знает это Сашка! Видал в Малоярославце, как всю площадь центральную березовыми крестами немцы украсили.

Озлился Сашка и, вспомнив немецкое слово «генуг», прервал немца резко:

— Генуг! Хватит болтать! Не твоего ума дело! — Немец сразу осекся, умолк. — Ты мне скажи, чего с моим напарником, что в плен к вам попал, делать будете? Шиссен, наверное? Иль пытать будете?

Немец, кроме «генуг», ничего, конечно, не понял, но при слове «шиссен» вздрогнул, сжался, лицо побелело... И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. Он, Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. Захочет — доведет до штаба живым, захочет — хлопнет по дороге! Сашке даже как-то не по себе стало... И немец, конечно, понимает, что в Сашкиных руках находится полностью. А что ему про русских наплели, одному богу известно! Только не знает немец, какой Сашка человек, что не такой он, чтоб над пленным и безоружным издеваться.

Вспомнил Сашка, был у них в роте один больно злой на немцев, из белорусов вроде. Тот бы фрица не довел. Сказал бы, при попытке к бегству, и спросу никакого.

И стало Сашке как-то не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком.

— Ладно уж, — сказал он, — кури спокойно. Раухен.

Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла... Курил он мелкими неглубокими затяжками, не как они — вздох, вдыхая дым что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра.

Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоевался? Или переживает? В плену, ясно, не радость, но живым-то останется.

Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше руки на себя наложить. Но можно и не успеть. А если раненый да без сознания? Вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы и прозевать немцев, могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу — бр-бр...

Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни? Припомнив, как по-немецки «рабочий» и «крестьянин», он спросил:

— Ты кем был? Арбайтер или бауэр?

— Штудент.

— Вот оно что... — протянул Сашка. Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался. — Эх ты... штудент, а пошел с фашистами.

— Их бин нихт фашист, — как-то устало перебил его немец.

— Это я уже слышал. Ну ладно, отдохнули, и хватит, — поднялся Сашка. — Пошли.

Как ни старался Сашка вести немца так, чтоб не попадались убитые, нет-нет да натыкались они на них, и опять стыдно было Сашке, что захороненные, словно сам в чем-то виноватый.

При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка на опушке свежую могилку настоящую, закиданную лапником и даже с венком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было (не успели, видно), но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так? Ладно, дойдем, узнаем у ребят...

В деревне было пусто... И верно, расхаживать по ней днем не очень будешь. На пригорке она и прямо напротив Усова, что немцем занято, и просматривается оттуда куда хорошо. Каждый раз, приходя сюда то с донесением, то когда раненых помогал приносить, примечал Сашка, как уменьшалась и без того малая эта деревенька... Вот и сейчас увидел: не стало сарая, где они первую ночь укрывались, дома крайнего тоже нет, одни головешки, ну и воронок поприбавилось.

Всю дорогу, пока вел сюда немца, где-то на самом краешке души затаенная хоронилась у Сашки надежда: а вдруг его с немцем в штаб бригады отправят? Далеко это, за Волгой, туда-обратно целый день протопаешь, но могла быть у него тогда *встреча*, о которой мечтал и в глубине сердца держал все эти месяцы. Поэтому сейчас, подходя к штабу, где могло все решиться, Сашка забеспокоился. Хотя и не любил он ни у кого ничего просить, тут решил даже попроситься, как бы в награду за то, что немца полонил.

Изба, в которой штаб батальона находился, была пока целехонькая, только рядом две воронки здоровые — это, наверно, после бомбежки самолетной, что недавно была. На крыльце сидел боец с винтовкой, покуривал, греясь на солнышке. Увидев Сашку и немца, вскочил:

— Гляди, ребя, фриц!

Из дома выскочили несколько человек связистов, уставились.

— Это ты его? — спросил один.

— Ну я, — вроде неохотно, но с достоинством ответил Сашка. — Мне к начштаба. Тут он?

— Нет никого. Всех в штаб бригады вызвали.

— Куда же мне его? — кивнул Сашка на немца.

— Ждать придется... Или к комбату веди, он у себя. Только, понимаешь, больной он сейчас, не в себе... — сказал один. — Знаешь, где блиндаж его?

— Знаю.

— А может, не стоит капитана тревожить? — вступил другой. — Несчастье вышло: убило вчера Катеньку нашу. Переживает комбат...

— Значит, ее могилка на опушке? — спросил Сашка упавшим голосом. — Жалость-то какая...

— Ее. Когда хоронили, страшно на комбата глядеть было — все губы покусал, почернел весь...

Вспомнил Сашка, как на марше, когда они с ротным подтягивали отстающих в хвосте колонны, подъезжал комбат на белом жеребце, сам в белом полушубке, к штабным саням и ласково справлялся, не замерзла ли,

сидевшую там сестренку из санроты... Катей ее вроде звали. Эх, жалко дивчину! Очень жалко. И зачем только берут их на войну? Неужели без них не обойтись? Каково им среди мужиков-то? Хорошо, что остальные девчата в тылу, за Волгой, но и там может всякое приключиться. Засосало у Сашки под ложечкой — ничего он про Зину не знает... Последний раз на разгрузке свиделись, попрощались, и все... А времени два месяца прошло — для войны время огромное.

— Ладно, поведу к комбату, — решил Сашка.

У комбатовского блиндажа, не особо крепкого, тоже, видать, на скорую руку сделанного, сидел на бревнышке, полуразвалясь, комбатов связной — парень расторопный, но нахальный (знал его Сашка, из одной дальневосточной части они были). Лицо красное, загорелое, наверно, часто на солнышке припухает, глаза полужакрытые и будто хмельные.

Поднялся он лениво, поправил на груди автомат, скользнул взглядом по немцу небрежно (словно видал их каждый день) и процедил:

— Привет.

— Здорово, — ответил Сашка, уязвленный немного равнодушием связного к его немцу.

— К комбату, что ли?

— К нему.

— Нельзя! — резанул тот и сделал шаг к двери.

— Я ж с немцем, разве не видишь?

— Нельзя!

— Чего заладил? Пойди доложи. Разведка немецкая сегодня на нас нагрянула. Выбили мы их и вот фрица взяли. Доложи.

— Не велел комбат никого пускать. Понял?

— Понял. Знаю, что у вас. Но куда мне с фрицем? Может, его в бригаду вести надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен.

— Ты его, что ли, взял?

— А кто же?

— Кроме тебя, народу на передке нет, что ли, чудило?

— Я самолично. Только под конец ротный подмогнул.

— Герой, — усмехаясь и, видно, завидуя, процедил связной.

— Может, и не герой, а повозиться пришлось. Я ж его с пустым диском брал, в рукопашной. Ну, иди доложи.

— Фриц-то не из здоровых, — оглядывая немца, сказал тот. — Такого не велико дело взять.

Сашка озлился, хотел было съязвить насчет мурла, которое наел тот на тыловых харчах, да раздумал.

— Иди доложи. — Уж очень надеялся Сашка, что пошлет его комбат в бригаду немца вести, потому и настаивал.

— Уж так и быть, — снизошел связной и стал спускаться в блиндаж.

Немец что-то забеспокоился, вытащил свои сигареты, быстро прикурил, жадно затянулся несколько раз. Дал сигарету и Сашке.

— Ты не робей, — решил подбодрить немца Сашка. — Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял?

Немец, разумеется, не понял, но одернул мундир, подтянул пояс, поправил пилотку, а лицо его, несмотря на суетливость движений, наоборот, как-то поспокойнело, отвердилось, хоть и побледнело. Губы упрямо сжались, на лбу складка наметилась.

— Проходите, — не поднимаясь, а снизу пригласил связной.

В блиндаже было совсем темно, только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. После света Сашка не сразу и разглядел комбата, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи шинели. И, разглядев, не узнал. Всегда чисто выбритый, подтянутый, в белом подворотничке, сейчас комбат имел вид другой — обросший, со спутанными волосами, лезшими ему на лоб, в расстегнутой гимнастерке, согнутый, с отвисшей нижней губой и черными кругами около глаз, необычный и страшноватый.

— Докладывайте, — приказал он негромко, взглянув на Сашку и немца мертвыми, пустыми глазами.

Сашка вытянулся, набрал воздуха, но что-то мешало ему... Он откашлялся, скользнул взглядом по столу, а там разбросанные окурки, куски черного хлеба, бутылка водки, кружка, банка консервов початая, раскрытая планшетка с картой, и понял, что вот этот беспорядок на столе и вид самого комбата мешают ему начать.

— Я слушаю. — Комбат отпил из кружки.

Сашка вздохнул еще раз и громко начал с того, как обрушили на них немцы утром огонь невиданной силы, как...

— Тише, — перебил капитан, поморщившись.

Это сбило Сашку, и он скомкал все остальное — как навалилась неожиданно немецкая разведка, как пришлось, опасаясь окружения, отойти за овсянниковский овраг...

Тут комбат позвал к столу и велел показать на карте, откуда пришла разведка. Сашка показал и, закончив доклад, передал рапорт ротного.

Комбат прочитал записку, вскинулся вдруг, поднялся резко во весь рост, стукнувшись головой о потолок, выругался и, ударив кулаком по столу, закричал:

— Разини! Своего проморгали! А вы тут заливаете — выбили, отбили, в плен взяли... А своего упустили! Судить буду ротного! Судить! — Он опустился на стул, хлебнул еще из кружки, сминая беломорину, сломал ее, взял другую, закурил и устался на немца.

Тот вытянулся по-солдатски и вначале глядел на комбата прямо, но потом, не выдержав упорного, тяжелого капитанова взгляда, вздрогнул, потупился и отвел глаза.

Капитан тем временем поднялся, вышел из-за стола и медленно надвигался на немца. Сашка глянул на комбата, на побелевшие его глаза, на сведенные губы, и пробрала его дрожь — такого взгляда не видел он у людей никогда.

— Немец... — прохрипел капитан, подойдя вплотную. — Вот ты каков, немец... — Тот отшатнулся.

Комбат не переставал смотреть на немца немигающими мутными глазами, пока тот не отступил назад, прижатый взглядом капитана к стене блиндажа.

— Сейчас ты мне все расскажешь, фашист, все... — продолжал капитан. — Толик! Где разговорник? — Ординарец бросился к топчану, вынул из-под матраца русско-немецкий словарь и подал комбату. Тот отошел к столу, сел и буркнул: — Выйдите оба!

Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось. А думалось, порадуетя комбат «языку», похвалит Сашку, поблагодарит. Не исключал он и стопочку преподнесенную и обещание награды... Ан нет, по-другому все обернулось. И за ротного беспокойно стало, неужто и вправду судить будут? Сержант же подвел, не смог с перепугу людей сосчитать. Кабы хватились сразу, разве отдали бы? Поднялись бы в атаку, отбили бы Сашкиного напарника... Да... и комбат нехорош сегодня...

Начальство Сашка уважал. И не только потому, что большинство командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он за два года кадровой — в армии без этого нельзя. И теперь ему было неловко за комбата, что не в своем он виде, хотя горе его понимал... Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного...

Вот когда поднялись они из-под взгорка — серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги! Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно! Но, когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым... Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе...

Привалившись на бревнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила его усталость — обмякло тело, залипли веки, зазевалось. И захотелось ему растянуться прямо тут и вздремнуть хоть минутно. Сказались и ночь неспаная, и напряг во время обстрела, и драка с немцем из последних сил... Чуток попротивившись сну, он все же не выдержал, прикрыл глаза и провалился, ушел от тяготы этого утра.

Очнулся он, когда тряхнул его за плечо комбатовский ординарец:

— Слушай! Хватит дрыхнуть! Не говорит твой немец ничего. Понял? Ни номера части, ни расположения. Ничего, сука, не говорит.

Из блиндажа неясно раздавался хриплый капитанов голос, кричавший на немца.

Сашка протер глаза.

— Он и ротному ничего не сказал. Такой немец... — проговорил Сашка, подавляя зевоту.

— Ничего, — продолжал Толик. — У капитана заговорит. А не расколется — к стенке!

— Чего городишь? — уже проснувшись окончательно, встревожился Сашка.

— А чего с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.

— А ты бы заговорил, если бы в плен попал?

— Чего равняешь?

— Так он тоже присягу небось принимал.

— Кому? — возмутился Толик. — Гитлеру-гаду! Ты что-то запутался, герой, — он снисходительно похлопал Сашку по спине. — Нельзя нас с ними равнять. Понял?

— Именно, — сказал Сашка. — Раз они гады, значит, и мы такими должны быть? Так, что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев читал?

— Нет.

— То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны. Вот так.

— Так это если добровольно сдастся, если расскажет все. А этого ты в бою взял, и говорить он, сука, ничего не желает.

— Ладно, дай покурить лучше. Труха у меня одна, — попросил Сашка, а у самого зависло в сердце что-то тяжелое от этого разговора.

— Держи, — Толик протянул туго набитый кисет с вышитой надписью «Бей фашистов».

— У вас тут с табачком, видать, получше.

Сашка оторвал газетки побольше и махры прихватил не стесняясь. Цигарка свернулась на славу, раза три можно прикладываться.

— Фриц сигаретами угощал, но не тот табачок, до души не доходит, — добавил Сашка, затянувшись во всю силу, и, выдохнув дым, спросил: — Откуда кисет такой?

— Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала.

— До нас что-то не дошло, — заметил Сашка, возвращая кисет, а потом спросил: — Много капитан выпил?

— По нему не поймешь. Как Катю вчера утром похоронили, так и начал. И ночью не спал, небось подкреплялся.

— Как убило-то?

— Шла из штаба в блиндаж, и убило... У нас здесь тоже потерь хватает.

— Ну, с нашими-то не сравнить.

— Не скажи... Вы сами виноваты, капитан говорит, окопов вырыть не можете.

— Тебя бы туда. Рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем, не до рытья, — стало Сашке обидно. Что они, враги себе? Кабы могли, разве не выкопали бы?

Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез, никто особо не интересовался, что чувствует, что переживает рядовой боец Сашка, не до того было. Только одно и слышал: Сашка — туда, Сашка сюда! Сашка, бегом в штаб с донесением! Сашка, помоги раненого нести! Сашка, этой ночью придется в разведку! Сашка, бери ручной пулемет!

Только ротный, бывало, перед тем как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: «Надо, Сашок. Понимаешь, надо». И Сашка понимал — надо, и делал все, что приказано, как следует.

Но на все, что тут делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он — не слепой же — промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки... И с распутицей этой, на которую теперь все валят, что-то не так. Разве весна негаданная пришла? Разве зимой припасов нельзя было заготовить? Просто худо пока все, недохват во всем, и воевать, видать, не научились еще. Но в том, что вскорости все изменится к лучшему, Сашка ни на минуту не сомневался.

От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас только одного — поскорей бы с немцем все кончилось и отпустили бы его обратно в роту. На то, что в штаб бригады направят, уже не надеялся — не та обстановка сложилась.

— Может, идти мне можно? Разберетесь тут с немцем без меня, — спросил он у Толика.

— Разобраться-то разберемся, будь спок, — насмешливо осклабясь, ответил тот. — Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания твоему ротному с тобой отправит.

— Муторно что-то, — вздохнул Сашка.

Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно и не было. Молчит, зараза! А чего молчит? Рассказал бы все, выложил начистоту, и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него поднялось у Сашки — все задумки из-за него, гада, пошли прахом. И вообще неурядь вышла — и дивчину эту убило, и комбат из-за этого не в себе, и в штабе никого, и немец не раскалывается... Все к одному.

Наконец затихло в блиндаже и потянулась тишина... Сашка уж полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то...

— Ко мне! — расколол тишину капитанов голос.

И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять в полутьме блиндажа.

Желтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблескивал вороненым металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени, и когда Сашка, проходя вперед, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьет немца дрожь.

У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он стоял — большой, в свалившейся с одного плеча шинели и оттого какой-то скособоченный, странно непохожий на себя прежнего, прямого и собранного. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу, выдавил:

— Немца — в расход.

У Сашки потемнело в глазах и поплыло все вокруг — и стены блиндажа, и лампа, и лицо комбата, даже качнулся Сашка... Но потом, придя в себя, бросился к немцу, схватил того за грудки и закричал:

— Да говори ты, гад! Говори! Убивать же будут! Понимаешь? Говори, чего капитан спрашивает! Говори, зараза!

Немец, обмякший, недвижный, только мотнул головой и закусил губу.

— Не понимаешь? Шиссен будут! Тебя шиссен! Говори...

— Прекратить! Не ломайте комедии! — крикнул капитан и, размяв чуть дрожащими пальцами папиросу, уже спокойно добавил: — Выполняйте приказание.

— Вы мне, товарищ капитан? — упавшим голосом спросил Сашка, отпуская немца.

— Вам, — негромко сказал капитан, а Сашке показалось, будто гром с неба. — По исполнению доложить. Толик, пойдешь с ними, проверишь.

— Есть проверить! — вытянулся тот.

— Товарищ капитан... — начал заикаться Сашка. — Товарищ капитан... Я ж обещался ему... Я листовку нашу ему показывал, где все сказано... Где у тебя листовка? — подался он опять к немцу. — Где папир, которую тебе дал? Покажи капитану!

Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтоб достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил оттуда сложенную аккуратно бумажку и ринулся к комбату:

— Вот она, товарищ капитан! Там сказано... Вы ж по-немецки читаете... Вот она!

Комбат листовку не взял, отстранил ее от себя будто брезгливо, и обескураженный, растерянный Сашка сунул ее опять в карман немцу.

— Сколько у вас в роте было человек? — спросил капитан, упершись в Сашку тяжелым взглядом.

— Сто пятьдесят, товарищ капитан.

— Сколько осталось?

— Шестнадцать...

— И ты гада этого жалеешь? — гаркнул капитан, переходя на «ты».

— Я... я... не жалею... — У Сашки сметало рот, занемели губы, и он еле-еле выдавливал слова.

И сказал он неправду. Жалел он немца. Может, не столько жалел, сколько не представлял, как будет вести его куда-то... К стенке, наверно, надо (читал он в повестях о гражданской войне, что к стенке всегда водили расстреливать), и безоружного, беспомощного стрелять будет... Много, очень много видал Сашка смертей за это время — проживи до ста лет, столько не увидишь, — но цена человеческой жизни не уменьшилась от этого в его сознании, и он пролепетал:

— Не могу я, товарищ капитан... Ну, не могу... Слово я ему давал, — уже понимая, что ни к чему его слова, что все равно заставит его капитан свой приказ исполнить, потому как на войне они, на передовой и приказ начальника — закон.

— Какое право имел обещать что-то? И кому — фашисту!

— Он не фашист, — вырвалось у Сашки.

— Выпить бы ему, товарищ капитан, перед этим, — осторожно вмешался Толик, чуть побледневший и наглость свою малость утративший.

Но капитан оставил это без внимания — и Сашкин возглас, и предложение Толика. Глядя на Сашку в упор, отчеканил:

— Повторите приказание!

Сашка утер рукавом липкий пот со лба... Он видел, пошло дело на принцип, и капитан от своего не отступится, придется покориться. Но повторить приказание просто физически не мог, не раскрывался рот, залип язык...

— Повторите приказание! — уже раздраженно и повысив голос, сказал комбат и потянулся к пистолету.

Толик дернул Сашку за полу ватника — не валяй дурака, дескать, а то плохо будет. Так понял его жест Сашка.

— Я жду! — прикрикнул капитан и положил ладонь на ручку ТТ.

Ординарец дернул Сашку еще сильнее, и Сашка, уже обессиленный этим неравным поединком, прошептал чуть слышно:

— Есть немца — в расход...

— Не слышу! — перебил капитан.

— Есть немца — в расход, — погромче повторил Сашка.

— О выполнении доложить!

— О выполнении доложить...

— Теперь сначала и как следует!

— Есть немца — в расход. О выполнении доложить.

— Выполняйте! — Капитан отвернулся от Сашки и сел.

— Есть выполнять. — Сашка попытался повернуться по-строевому, но не получилось, не было силы в ногах, и услышал вслед:

— Отставить!

Пришлось еще раз. Старался Сашка прицелкнуть каблуками, но заляпанные грязью ботинки звука не давали, и ожидал он опять «отставить», но комбат сказал только:

— Выполняйте.

Сказал тихо, каким-то усталым, без прежнего напора голосом.

Когда Сашка повернулся, немец, понявший все, без Сашкиной команды пошел к выходу, тяжело топая ногами по лестнице. За ними вышел и Толик.

— Ты чего ломался? — бросился он на Сашку. — Из-за этого гада жизни лишиться хотел? Видишь же, не в себе капитан. Такой он все может...

— Ладно, не суети... — Сашка неверной рукой стал выбивать искру и прижег свой чинарик. — Обещал я жизнь немцу. Понимаешь?

— Чокнутый ты, что ли? Обещал он! Тоже мне, командующий нашелся! Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали — исполнил! А ты...

— Не суети, говорю. — Сашка глубоко втянул в себя дым, даже раскашлялся и сказал немцу: Кури тоже...

Тот вытащил свои сигареты и, видно забыв про свою зажигалку, потянулся к Сашке прикурить дрожащей сигаретиной. И тут столкнулся Сашка с его глазами...

Много пришлось видеть на передовой помиравших от ран ребят, и всегда поражали Сашку их глаза — посветлевшие какие-то, отрешенные, уже с того света будто бы... Умирали глаза раньше тела. Еще билось сердце, дышала грудь, а глаза... глаза уже помертвевшие. Вот и у немца сейчас такие же... Отвел Сашка взгляд, потупился.

А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил цепким взглядом часы на его руке и уже не отпускал.

— Боишься ты, что ли? — сказал он, вскинув автомат. — Давай я.

— Не балуй! — ударил Сашка рукой по стволу ППШ. — Горазды вы тут... Ты бы взял его наперед, а тогда...

— Да я пошутил, — поспешил Толик.

— Нашел чем...

— Куда поведем фрица-то?

— Не знаю.

— К сараю пойдем, в сторону.

— Погоди, дай человеку докурить.

— Слушай, а куда ты трофей денешь? — спросил наконец Толик, не сводя взгляд с часов на руке немца.

— Какой трофей? — не понял Сашка.

— Часики фрицевские.

— А, часики... Что ж, трофей законный, в бою добытый... Ротному отдам... Ему без часов нельзя, а свои разбил он намеренно при обстреле.

Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно:

— Я бы тебе буханку черняшки дал... за часики-то...

— Нет, ротному отдам.

— Обойдется твой ротный... Махры могу пачку в придачу. Идет?

Сашка слушал вполуха, а сам соображал, что же такого придумать? Хотя и повторил он приказание комбата, но до сих пор представить не мог, как выполнять его будет. И решил он, что надо наперво отделаться от этого Толика, чтоб не мешался. И он закинул:

— Может, я тебе часики и за так отдам.

— За так? — удивился тот.

— За так, — повторил Сашка. — Только не мешайся. Договорились?

— А чего я тебе мешаю? Я приказ получил — проверить.

— Потом и проверишь. А я хочу без тебя это *дело* сделать. Понял?

— Как хочешь. Мне смотреть на это удовольствия никакого.

На немца Сашка не глядел. Не мог глядеть. Однако, пересилив себя, повернулся к нему и хотел было подойти и часы снять, но увидел, что немец, видно догадавшись, о чем речь у них шла, стал сам ремешок у часов расстегивать, только не мог — дрожали пальцы. Остановился тогда Сашка.

— *Потом* тебе часы отдам... Понимаешь? — бросил он Толику.

— Понимаю, — тихо ответил Толик, а сам в лице изменился, побледнел, сробел, видно, и сказал немцу как бы с сожалением: — Эх, фриц, надо было шпрехен. Понимаешь, шпрехен. А теперь на себя пеняй.

Немец его не слушал. Он вынул из кармана листовку и стал рвать ее на мелкие куски, бормоча что-то, и только слово «пропагандой», повторенное не однажды, понял Сашка. Хотел он было крикнуть: «Не смей нашу листовку рвать! Не смей!» Но... не крикнул, только кольнуло сердце — сроду никого он не обманывал, а тут обманул. И в чем? В самом главном, чего уже не поправишь.

— Пошли, — сказал он немцу.

Медленно, тяня шаг, двинулись они к полуразрушенному сараю — впереди Сашка, за ним немец, а Толик в хвосте. Сарай этот Сашке памятен. Ночью после самого первого их наступления дали немцы огня по тылам, и под этим сараем погребены человек двенадцать его однополчан-дальневосточников. И до передка не дошли ребята, а все молодые, Сашкины однолетки. У сарая до сих пор трупным духом веет. Остановились...

— Здесь и решать будешь? — спросил Толик. Но у Сашки свои мысли.

— Нет, больно близко к штабу... Вон туда поведу, — показал Сашка на пепелище, черневшее по обеим сторонам большака, что проходил в полуверсте от Чернова. — А ты меня здесь подождешь.

— Чего ты крутишь, герой? — подозрительно оглядел Толик Сашку. — Надеешься, одумается капитан? Нет, брат, он не такой. Что сказал...

— Подождешь? — перебил Сашка.

— Подожду, — как-то странно ответил тот, оглядывая Сашку.

Что делать и как быть, Сашка еще не решил. Разные мысли метались, но ни одной стоящей. Может, встретится кто из начальства и приказ комбата отменит (по уставу последнее приказание выполняется), может, комиссар и начштаба вернутся, тогда все в порядке будет — отменит комиссар приказ этот непременно... Может быть, обойти это разорище, что на большаке, и, минуя Черново, в роту податься и к помкомбата сразу?.. Ничего-то пока Сашка не решил, но знал одно — это еще в блиндаже, когда приказ повторял, в голове пронеслось, — есть у него в душе заслон какой или преграда, переступить которую он не в силах.

— Побудь с немцем чуток, я мигом, — попросил он ординарца.

— Куда ты?

— Только немца не тронь! А то часики тебе не понадобятся, — пригрозил Сашка больше так, чем по делу. Видел он, что Толик похвалиться любит, а сам слабак.

— Валяй, иди. Не трону, не бойся.

Сашка затрусил к штабу батальона — авось пришел кто, может, дежурный есть?

И верно, сидел на перилах крыльца незнакомый лейтенант, видать, из пополнения. Сашка к нему. Козырнул и напрямик:

— Такое дело, товарищ лейтенант. Немца я в плен взял, к комбату привел, а тот...

— Что?

— Ну, не в себе комбат немного... И приказал немца — в расход.

— Ну и что вы хотите?

— Нужен же немец... Отмените его приказание.

Лейтенант удивленно вскинул голову, подумал и спросил:

— Допрашивал его комбат?

— Допрашивал вроде, — в подробности Сашка вдаваться не стал.

Лейтенант опять подумал, провел рукой по подбородку.

— Мда... Не могу я, брат, отменять приказание комбата, когда он здесь, на месте. Понял? *Не могу.*

Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно, но вскоре на шаг перешел, а потом и остановился совсем. Не забежать ли в санчасть, там военврач — мужик хороший и по званию тоже капитан, его попросить за немца вступить? Да нет, едва ли тот станет. Строг комбат, все его побаиваются, повернет кругом, и весь разговор.

— Ну как? — усмехнулся Толик. Видел он, как Сашка с лейтенантом разговаривал.

— Дожди меня здесь. Приду, вместе на доклад пойдем.

— Ну, хорошо. — Толик с любопытством смотрел на Сашку. Понял он, хочет Сашка как-то выкрутиться, но ничего у него не получится. — Смотри только... Ты капитана не знаешь, он на руку скорый. Учти. Из-за тебя и я рискую.

— Не пугай. С передка я. Пошли, — кивнул Сашка немцу.

Шел Сашка позади немца, но и со спины видно — мается фриц, хотя виду старается не подавать, шагает ровно, только плечами иногда передергивает, будто от озноба. Но, когда поравнялся с ним Сашка, кинул взгляд, лица немца не узнал, так обострилось оно, построжало, посерело... Губы сжатые спеклись, а в глаза лучше не глядеть.

Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому, серьезней и даже с некоторым уважением — блюдет свою солдатскую присягу фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что зазря все это, ведь за неправое дело воюет! И захотелось Сашке сказать: «Эх, задурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера-гада! Эх ты...» — однако не сказал, понимая, не до слов сейчас, не до разговора, когда такое страшное впереди.

На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку.

— Не надо, себе оставь, — мотал головой Сашка, отказываясь, но фриц совал и совал.

Хотел было сказать Сашка, что сгодятся еще ему сигареты, но не сказал — не может он его зря обнадеживать, может, и верно, не нужно будет курево немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку.

Пока стояли, обернулся Сашка — Толика уже было не видно, да и Черново лишь крышами виднелось. А погорелая деревня, которая на большаке, почти рядом. Если в штаб бригады идти, надо этот большак пересечь и по полю до леса, а через лес к Волге. И только за ней уж Бахмутово будет. Далеко. Если до этого была у Сашки мысль вести немца в штаб бригады, то теперь отошла — нет у него права без приказа в такую даль идти, дезертиром могут счесть запросто.

Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли еле-еле, а куда спешить?..

Немец всю дорогу слюну глотал часто, и дергался у него кадык, и у Сашки тоже в горле комок давит, дышать мешает. Понимает он, чего немец сейчас испытывает, какую тяготу несет, и завел с ним Сашка мысленный разговор: «Понимаешь, какую задачу ты мне задал? Из-за тебя, язвы, приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, трибунал, а может, комбат вгорячах прихлопнет? Есть у него такое право — война же! Ты вот листовку порвал, «пропаганден, пропаганден» бормотал, а каково мне было глядеть, как ты нашу листовку рвешь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка. А не так это! Правда она! И писалась людьми повыше комбата. И что мне теперь делать? Что?» — закончил он безответным вопросом.

А пепелище уж близко... Вот подошли они к первой сожженной избе. Надгробием торчала печная труба из груды пепла. Немец в нерешительности приостановился, но Сашка повел его дальше, чтоб из Чернова было их не видно. Вокруг пепелище, кое-где остались стены изб обгоревшие, а так только уголья чернели да что железное сохранилось: кровати искореженные, чугуны, сковороды, ну и кирпичи битые. Немецкая, видать, работа. При отходе сожгли,

сволочи! Вот поджигателей этих стрелял бы Сашка безжалостно, если б попались, а как в безоружного? Как?..

Тут подумал Сашка, а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмешь! Он бы слова для капитана нашел! А что Сашка — растерялся начисто, лепетал только «не могу»... Да что может Сашка, рядовой боец, которому каждый отделенный — начальник? Ничего вроде бы. Но хватило же у него духу капитану перечить, а сейчас такое умыслил, душа переворачивается — приказ не выполнить! Да кого? Самого командира части.

Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть, что сплелось с остальным: не может он беззащитного убивать. Не может, и все!

Остановился Сашка. Приставил ногу и немец. Близко стоят друг против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая из них, больно хлестнула по Сашкиному сердцу... Отвернулся он и, забыв, что есть у него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул сигарку, прижег... Потом очнулся и протянул немцу его пачку. Тот помотал головой, отказался, и понял Сашка, почему: небось решил, что последняя перед смертью эта сигарета, и не захотел этой милости.

— Кури, кури... — не убирал Сашка пачку.

Немец опять вскинулся, и пришлось Сашке принять его взгляд, а лучше бы не видеть... Померкшие глаза и мука в них: чего тянешь, чего душу выматываешь? Приказ есть приказ, ничего тут не поделаешь, кончай скорей... Так или не так понял Сашка его взгляд, но обдал он его такой тоской, что впору и себе пулю в лоб.

Поглядел он с надеждой на поле — не идет ли кто? Нет, не видать. Он и вышел-то сюда, к пепелищу, потому что отсюда поле почти до самого леса проглядывается и, если будет начальство из Бахмутова возвращаться, он издалека увидит, а как увидит, побежит сразу навстречу и к комиссару...

И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. Обернулся Сашка и обмер — маячила вдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом напрямик к ним, а рядом ординарец Толик, то забегавший поперек капитана, то равнявшийся с ним. Он-то и кричал что-то, наверно, Сашку звал.

Побледнел Сашка, съежился, облило тело ледяным потом, сдавилось сердце — идет комбат, конечно, проверять, исполнен ли приказ его! И что будет-то?..

Кинул он тоскливый взгляд опять на поле, а вдруг... Но пусто поле. Тогда вышел Сашка из-за обгоревших бревен показаться Толику, чтоб не орал он; ординарец, заметивший его, перестал кричать и размахивать руками.

За спиной Сашки тяжело задышал немец, подошедший и тоже увидевший идущих. Задышал часто, с хрипом, словно воздуха ему не хватало.

«Теперь все! Теперь уже ничего не придумаешь! — безнадежно проносилось в Сашкиной голове. — Конец теперь немцу...»

Комбат был без шинели и без фуражки (ушанку он вообще не носил, даже на марше в метели лютые в фуражечке красовался), воротник гимнастерки расстегнут, незатянутый ремень оттягивался кобурой, но походка была твердая, не качнулся ни разу.

Вспомнил Сашка, так же вот ровно шел комбат в последнем их наступлении на Овсянниково, когда ни ротные, ни помкомбата не смогли поднять вконец измученных перемаянных людей. Красиво шел... Глядели на него тогда с восхищением и поднялись как один через немоготу и усталость... И теперь прет, как танк, сравнил Сашка, потому как ощущения были схожие — тогда он знал, что никуда не денешься, и сейчас тоже...

И секундной вспышкой мелькнуло — ну а если... хлопнуть сейчас немца и бегом к капитану: «Ваше приказание выполнено...» И снята с души вся путань... И, не тронув автомата даже, только повернувшись чуть к немцу, увидел Сашка: прочел тот мысль эту секундную, смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык...

Нет, не могу... Прислонился Сашка к уцелевшей полуобгорелой стене, такая слабость охватила, но в душе нарастало: не буду, не буду! Пусть сам комбат стреляет. Или своему Толику прикажет. Не буду!

И когда решил так бесповоротно, вроде спокойней стало, только покой этот — покойнический... Лишь бы скорей подходил комбат, лишь бы скорей все это кончалось. И немцу маета эта невпоровот, и Сашке...

А капитан с ординарцем все ближе и ближе... Ну, что комбат делать будет? Силой заставит немца угрохать? Есть в уставе такое — обязан командир добиться выполнения своего приказа во что бы то ни стало и, если нужно, оружие применить. Или просто за невыполнение приказа Сашку на месте кокнет?

Уже шагах в сорока они. Видно, как попыхивает сбитая в самый угол рта папироска, как треплет ветром незачесанный чуб на лбу капитана, и ждать уж недолго.

И стал Сашка считать капитановы шаги, чтоб не думать ни о чем: раз, два... семь, восемь... двенадцать... двадцать, двадцать один... тридцать... тридцать четыре, тридцать пять...

Совсем рядом комбат... Что будет-то? Приослаб Сашка, но все же нашел в себе силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться под стойку «смирно» и уставиться в лицо комбата.

Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку, но долго взгляда не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошелся вскользь, переводя потом на немца, тоже ненадолго... Откинув прядь со лба, комбат затаился сильно папиросой и вроде задумался, уставившись в землю.

Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолетно: что, допрыгался, предупреджал я...

Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маетными, такими же мытарными... И тихо бывало так же. Только теперь за спиной Сашки шумно глотал слюну немец и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах.

Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять отбросил налезший на лоб клочок и, шагнув к Сашке, уперся в него своим неморгающим тяжелым взглядом.

Теперь конец, подумал Сашка, сейчас закричит, затопает, вытащит пистолет, и что тогда?

Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить — ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь, все равно я правый, а не ты... Ну, стреляй... Ну...

Чуял Сашка, озлится комбат на его непокорный ответный взгляд, но на Сашку тоже накатило, ничего ему не страшно, будь что будет... И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого с горбинкой носа, но не закричал, не затопал, к кобуре руку не потянул, а глядел на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьезно и вроде раздумчиво, — может, отошел малость, одумался...

Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил, и смотрел на комбата уже без дерзости, но твердо, хотя и колотилось сердце, как бешеное, отдаваясь болью в висках.

И *отвернул* глаза капитан.

— Пойдем, — сказал он пораженному ординарцу, который хотел было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев задеть Сашку недоуменным взглядом.

Сашка же стоял окаменело в той же стойке «смирно», все еще не сводя глаз с комбата, все еще не зная, радоваться ему или нет.

Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке и бросил:

— Немца отвести в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

У Сашки засекся голос ответить «есть», закружилось все, и чуть не осел он у обгоревших бревен, чувствуя, как железный обруч, стягивавший его голову все это время, начинает понемногу ослабевать и наконец отпускает совсем.

— Повторите приказание, боец! — словно издалека услышал он капитана и, набравши воздуха, выдохнул:

— Есть отвести немца в штаб бригады! — очень громко, как ему казалось, а на самом деле еле слышно.

— Выполняйте! — Комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой, а около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непонимающие взгляды на Сашку.

Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтер со лба пот, провел рукой по ежику отросших за эти месяцы волос и окинул взором все окрест — и удаляющегося комбата, и большак, и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеющий бор за полем, и нешибко голубое небо, словно впервые за этот день увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал: коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым незабывным...

Поначалу, когда что-то толкнуло Сашку и сразу вдруг ничего не стало видно, кроме неба, он ничего не понял.

Только потом, когда вырвавшийся из рук котелок со звоном поскакал вдоль ручья, а левую руку в двух местах ожгло болью, до него дошло — *ранило*.

Но, обнаторенный двухмесячной игрой со смертью, Сашка даже не повернул головы, лежал недвижно и только тихонько подвигал пальцами — шевелятся, значит, порядок, и только не колыхаться, немец-то наблюдает и, стоит шелохнуться, резанет очередью. Но долго смотреть в одну точку тот стомится и, убедившись, что русский готов, удовлетворенно хмыкнет и потянется за сигаретами... Вот тогда можно рвануть, но как угадать?

И потому лежал Сашка застывше, уставившись в небо, чувствуя, как быркая вода, промочив ватник, заледенила спину, затекла в левый ботинок и ознобила все тело.

Но все же надо поглядеть, что сотворил немец с его рукой, и Сашка скосил глаза. Из разорванного в двух местах рукава телогрейки торчала вата, но не белая, а бурая, и два темных до коричневости пятна медленно расплывались вокруг дырок.

Почему это кровь не красная, удивился Сашка, а потом испугался, что уйдет она из него вся без перевязки и не добраться тогда до санвзвода. И страсть как захотелось очутиться наверху оврага, перевязаться и немедленно в тыл, пока есть еще силенка и пока не добились.

Но что-то удерживало Сашку внизу — как бы не промахнуться. И, все так же бессмысленно глядя в небо, старался он представить себе немца, который его подбил. И виделся ему его враг не таким, каким был взятый им недавно в плен немец, а совсем другим — старым, с лицом злым и желтым, как у трупов, а из-под нахлобученной каски выпучен белесый, прижатый к окуляру глаз, нацеленный на Сашку, а скрюченный палец на спусковом крючке готов вот-вот сжаться, чтоб пустить очередь.

И вдруг словно воочию увидел Сашка, как отнял немец руку от оружия и зашарил ею по карману — но глаза все еще на прицеле, — как вынул сигареты, потом зажигалку, и тут... тут надо рвать! И Сашка не замешкался, вскочил рывком, охнул от боли, и пулей через ручей, и взлетом по склону оврага. Плюхнулся он на землю под первой же елью. Дальше не побежал — нельзя! Если приметил его фриц, то хлопбыстнет поперед его, хлопбыстнет наобум, но может и прибить...

И впрямь пулевая очередь проскочила впереди Сашки, посбивала ветки с деревьев, потом прорезала в правую сторону, где шел дальше редкий подлесок и где обитает его первая битая-перебитая рота в тринадцать штыков — чертова дюжина, — измытаренная, оголодалая, мокрая.

Кривясь от боли, стащил Сашка с левого плеча ватник, засучил рукав гимнастерки и увидел рваное, развороченное мясо — одна из пуль прошла касательно — и кое-как, наскоро перевязался.

Крови было почему-то немного, и подумал Сашка, что от этой треклятой жизни на передке ее вообще у него осталась самая малость. В голове кружило, тело обмякло в слабости, и захотелось курнуть, хоть одну затяжку сделать,

чтоб прибодриться, но одной рукой самокрутку не свернешь, да и табачишко у него — одна труха, придется перетерпеть.

Ну что ж, подумал Сашка, полежу чуток, отдышусь и в тыл... Неужто отвоевался на время, неужто живым отсюда выберусь? Даже не верилось.

Спустя немного поднялся он и небоязно — закрывали его тут деревья и кустарник — затопал по тропке, ведущей в тыл, но, не пройдя и десятка шагов, остановился... Постоял в нерешительности недолго, потом, махнув рукой, двинулся дальше.

На передовой такой порядок: если ранило, уходишь в тыл, отдай свой автомат или СВТ оставшимся, воевать которым, а сам бери родимую трехлинейную, образца одна тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, которую и сдашь в тылу. Будет проходить Сашка расположение второй роты, там и произведет обмен. Но его-то роте ППШ тогда не достанется... Сашка опять приостановился. Да и с ребятами, и с ротным надо бы проститься, начал уговаривать он себя, потому как смертно не хотелось ему перебегать опять этот проклятуший ручей, возле которого не один десяток пробитых котелков и касок... И главное, уж больно редок лесок за оврагом, кустики одни да осинки тонкие. Сквозь них весь на виду будет Сашка, и только метров через сто станет укрытистей. Вот эти-то метры самые злые, и если приметит его там немец, врежет наверняка!

И Сашка заколебался... Конечно, фриц не ждет его обратно — какой дурак, ежели ранен уже, попрется назад, на тот гнилой болотный пятачок, — немец ждет кого другого, кто приползет за водичкой, и наблюдает, конечно, зараза. И дважды придется пройти Сашке под смертью туда и обратно. А такая неохота, если добьют.

Но Сашка все эти страшные два месяца только и делал, чего неохота. И в наступления, и в разведки — все это ведь через силу, преодолая себя, заколачивая страх и жажду жить вглубь, на самое донышко души, чтоб не мешали они делать ему то, что положено, что *надо*.

Но сейчас-то это *надо* не так уж обязывало, потому как раненый он и имел право распоряжаться собой по-своему и *надо* ему топать поскорей по этой тропке, которая в тыл, которая к жизни, да поторапливаться, пока тихо, пока силы есть... Но, пока эти мысли крутились в голове, ноги принесли его обратно к оврагу.

И здесь с ходу, даже не приостановившись — потому, если задержаться хоть на минуту, не заставить себя дальше, — бросился Сашка вниз по уклону, перемахнул через ручей и грохнулся на землю уже на той стороне, вжался в траву и замер, ожидая выстрелов, но их не было — проморгал фриц! Но сердце колотилось как бешеное, и пришлось Сашке некоторое время полежать, прежде чем поползти дальше.

Как ни старался он не беречь раненую руку, задевалась она о землю и мешала. Мешал и автомат, и диски у пояса, и гранаты, и каска, налезавшая на лоб, и не раз замирал Сашка для передыху.

Миновав это гиблое, прозрачное место, он приподнялся и заковылял в расположение роты, но не совсем в рост, а пригнувшись.

Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, кругом вода. Даже мелкие воронки от мин и те ею дополна, и ютилась битая-перебитая в

шалашиках. Только у ротного был жиденький блиндажик, на бугорке выкопанный, но и в нем воды до колена. К нему-то и держал Сашка направление.

Ротный стоял у своего обиталища и, видно, ждал Сашку. Он ведь и послал его за водой к ручью.

— Вот ранило, товарищ командир, — словно извиняясь, доложил Сашка. — Снайпер поймал, чтоб его...

— Зачем вернулся? — перебил ротный.

— Автомат принес... Да и с ребятами проститься...

— Тоже мне, сантименты, — буркнул ротный свое любимое словечко.

— Неудобно же так, не доложив... — Сашка бережно опустил автомат на землю.

— Ладно. Не задерживайся только, чем черт не шутит...

— Закурить бы... Не завернете, товарищ командир?

— Сейчас.

Ротный вынул кисет и немного дрожащими пальцами стал крутить большую сигарку. Ему тоже что несподручно, руки-то у него перевязаны. Уж месяц, как пошла по ним какая-то болезнь нервная от этой их жизни, что неспорно, но в санчасть ротный не шел, а когда ребята уговаривали, отделивался небрежно этими своими «сантиментами».

Сашка принял сигарку, поблагодарил, затянулся во всю мочь, и поплыло все перед глазами — хорошо...

Подшли бойцы-товарищи, обступили Сашку, обглядели.

— Отвоевался, Сашок.

— По-легкому отделался — в ручку.

— Повезло черту...

— А он везучий, Сашка-то.

— К праздничку в тыл подастся.

— Я говорю, везучий.

— За нас праздник отгуляй. Прижми в санроте сестренку какую за всех нас. — Это сержант сказал. На передке недавно, из разведки прислали. На несколько деньков его хватило анекдоты да байки про баб рассказывать, а потом заглож, сник, жадные глаза навывкат потухли.

— Он прижмет! Его самого сейчас... Верно, Сашка? С наших харчей не разбежишься.

Потом присели кто куда и откурили. Молча.

— Давай отваливай, Сашок, — ротный тронул его за плечо. — Нечего рассиживаться.

Сашка поднялся. Конечно, надо идти, чего судьбу пытаться, но неловко как-то и совестно — вот он уходит, а ребята и небритый осунувшийся ротный должны остаться здесь, в этой погани и мокряди, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда живым, как уходит сейчас он, Сашка.

И топтался он на месте, все не решаясь стронуться, пока ротный не прикрикнул:

— Прирос ты, что ли! Проводите его, сержант, до ручья.

— Сменят вас! Скоро сменят! Сколько ж можно? Сменят обязательно, — торопливо, словно боясь, что перебьют, залепетал Сашка. — Свидимся еще. Я из санроты ни ногой, дождусь вас беспрерывно.

— Ладно, не загадывай. — Ротный протянул руку. — Ну, бывай, Сашок, смотри, чтоб не добило. Не хочу я этого. Понял? — И подтолкнул тихонько Сашку.

— До встречи, ребята, — бодро выкрикнул Сашка и сам почувствовал фальшивину в этой бодрости, потому как знал он точно, никаким встречам со многими оставшимися здесь не бывать, а кому уж из них остаться здесь, на этой ржевской, набухшей от крови земле, это уж судьба...

Сашку немного пошатывало, и сержант поддерживал его за локоть. Перед тем местом, откуда ползти надо, посидели они чуток, и скрутил сержант Сашке на дорогу самокрутку, да не из «легкого», а из махорочки. Продрала она до самого нутра, приглушила боль.

— Счастливый ты, Сашка... — не тая зависти, протянул сержант.

Хотел было ответить Сашка, что нечего пока ему завидовать: впереди ручей, два километра по передовой, да и Черново обстреливают. Верст шесть надо пройти, тогда можно сказать наверняка — отвоевался, а пока...

Но глянул на сержанта, а у того глаза словно пленкой какой подернуты, нехорошие глаза, и ничего не ответил, — конечно, счастливый по сравнению с другими-то.

Долго набирался Сашка духу перед оврагом — страшно через него идти. Пожалуй, ползком придется. Конечно, замокришься весь, в грязи изваляешься, зато фриц не заметит... Но неподобно Сашке, бывалому бойцу, праздновать напоследок перед немцем труса. И опять в рост метнулся он через овраг, и опять строкотнула по нему очередь, и опять отлеживался он под той же елью... Только теперь немец так быстро не отстает, поливает и поливает... Вот и мины пустил, зараза, чтоб ему провалиться, и шлепнулась одна прямо в ручей, обдав Сашку комьями грязи.

Вот язвы так язвы, шептал он, неужто не дадут уйти, гады? Но где-то предчувствие — обойдется... Минут пятнадцать бушевал фриц, а для Сашки век целый.

Теперь все, никаких задержек больше, сказал он себе и что было сил затрусил по тропке. До второй роты шла она вдоль опушки, и виднелось ему сквозь деревья поле, то страшное ржавое поле, по которому бегал и ползал и на котором мог бы остаться навечно, как остались многие его друзья-товарищи.

Там, где тропа сворачивала влево, в глубь леса, он приостановился и окинул последним оглядом это поле и попрощался мысленно со всеми там оставшимися... Не его вина, что не разделил он их судьбу, выпал ему просто счастливый случай до времени, но впереди-то у него еще вся война...

Свернув в лес, Сашка поспокойнел. И идти тут легче — посуше.

Два месяца не гляделся он в зеркало. Тот осколочек, что употреблял при бритье, показывал ему только отдельные части лица, ну а осмотреть себя всего где уж...

А вид был у него не ахти: обгоревшая, заляпанная грязью телогрейка вся в дырах, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие

брюки, диагоналевые, тоже протертые, и виднелись из них бежевые теплые кальсоны, а потом уж и тело синело; ушанка, задетая пулей (каска-то не всегда надевали), тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжи от налипшей глины, а руки черные, обожженные... Грели их над костром, а когда задремлешь на миг, падали они в огонь безжизненно, оттого и ожоги.

Не один Сашка такой, все на передке такие же, и как бы в порядке вещей, но сейчас ощутил он на себе весомость двухмесячной грязи и замечтал о бане: как прогреет в парилке вконец измерзшее тело, как сдерет с него коросту наросшей грязи, как наденет после прожарки горячее белье и как избавится наконец от противного зуда, изводящего всех их постоянно... Даже блаженная улыбка проползла по Сашкиным губам, когда представилось это, но в тот же миг очутился он на земле — тонко пропели две шальные пули над головой.

И понял он, ничего загадывать пока нельзя, слишком ненадежно пока его бытье. Так и смерть может захватить расплохом... И навалился на Сашку после этих пуль страх, как бы не добило.

Насколько позволяли силы, прибавил он шагу, проклиная голодуху. Из-за нее, проклятой, не может он сейчас убыстрить ход и плетется, как обезноженный, а не ровен час, надумает фриц из миномета бабахнуть или «рама» в небе загудит, которая хоть и для разведки, но может и бомбами закидать, что не раз бывало.

Лес погустел, потемнел, и пала на Сашку мысль, что не выпустит его передовая, что возьмет свое напоследок, не даст добраться до тыла живым, и так тошно стало, что остановился он, прислонился к ели и стал пытаться одной рукой сигарку завернуть, — может, легче станет. Сыпался табак, рвалась газетка, но кое-как прислунявил он самокрутку, кое-как выбил искру «катушкой» и закурил.

О многом передумалось здесь за эти месяцы, вдосыть набедовался Сашка под этими ржевскими деревеньками, которые брали, брали, да так и не смогли взять... Но ни разу не засомневался он в победе. Казалось уж, яснее ясного — сильнее немец пока и воюет осторожно, людьми не раскидывается, ночами бережется... Сколько ракет надо иметь, чтобы вот так все ночи подряд запуливать их в небо без передыха, уйму. Мин и снарядов тоже не жалеет. Значит, навалом их у него...

Но все же знал Сашка точно — не победить немцу! Да и деревни эти могли бы взять. Один раз совсем уже подобрались. Чуток бы огоньку да пару «тридцатьчетверок», и хана фрицам.

Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу, в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не *обезверел* и делал свое солдатское дело как умел, хотя особых геройств вроде не совершал. И совсем не думал, что одно нахождение тут, в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом.

Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Чернове. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди, но он безжалостно погасил его. Не о доме то,

не о матери... До дому ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте и опять айда обратно, но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить... И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний — ох как далече до настоящего тыла, и всякое может приключиться.

Мина шлепнулась неожиданно, не предупредив воем, прямо на тропку впереди Сашки, оглушив, обдав землей и вонью, охолодив тело и швырнув его в неглубокую воронку, полную мутной рыжевато-красной воды. За ней еще одна, и еще... И подбирались они все ближе к нему.

Заметался он между деревьями, перебегая с места на место, надеясь по звуку угадать, куда она, стерва, шарахнет, хотя и знал, лучше залечь и не суетиться, все равно не угадаешь.

Но *сейчас* отдаться на волю случаю, как прежде, он не мог. Так близок и зрим был перед ним конец его маеты, так до отчаянности было обидно замертветь здесь, на этой тропке, которая в тыл, что не один холодный пот прошиб Сашку и никогда не мельтешил он так под обстрелом, никогда не падал на него такой неумный страх, вдавливающий его до боли в землю.

Немец обстреливал, разумеется, не Сашку... Огонь велся по Чернову и по подходам к лесу. Явственно прослушивалось шелестенье тяжелых снарядов над головой и громовое уханье их разрывов впереди.

Неспроста это, неспроста... Чего надумал фриц? Вдруг наступать? Вот незадача! Не дает уйти, гад, шпарит и шпарит.

Наконец устал Сашка перебегать туда-сюда и безвольно привалился к дереву — будь что будет... Сжался комком и только вздрагивал при каждом разрыве. Будь что будет... Даже глаза закрыл. Не судьба, значит, уйти живым с передка.

Но стон где-то совсем рядом встрепел Сашку. А потом услышал он:

— Братцы... Есть кто поблизости? Братцы... Ранило меня... Санитаров бы... Вот еще негораздья какая! Матюгнулся Сашка, но на голос пополз.

Раненый — большой и грузный, из «отцов», с седой щетиной на квадратном подбородке — жадно хватал ртом воздух. На груди растекалось рыжее пятно.

Одного взгляда достаточно — плохо дело. Знал Сашка, если не перевяжешь сразу, не заткнешь дырку марлей, то раненные в грудь долго не тянут, помирают тут же.

— Вот, сынок, отвоевался, видать... — с трудом выпершил раненый.

— Пакет где? — спросил Сашка и, не дожидаясь ответа, осмотрелся. Шагах в трех валялась сумка от противогаза. — Там?

— Там.

Кое-как расстегнул Сашка ватник, задрал гимнастерку, рубаху. Из черной щели в груди толчками била кровь. Сашка поморщился. Стало страшно — а если б его так? Быстро сунул марлевую салфетку в рану, но, пока прилаживал бинт, пропиталась она уже кровью.

— Не выдюжу... — раненый бессильно запрокинул голову, а изо рта пузырилась розовая пена.

— Ничего, потерпи. — Сашка тоже кривился от боли, пришлось и левой рукой действовать. — Что делать будем?

— Не уходи, сынок, долго не протяну.

— В санчасть тебя надо. Пойду я, санитаров пришлю. А ты лежи.

— Не найдут меня. Ты покричи, может, есть кто поблизости.

Не один раз видел Сашка смерть, и всегда дивило его, как безжалобно умирают люди. И не понимал он этой безропотности. А теперь вроде дошло — просто, когда ранит тяжело, нету уж сил за жизнь бороться.

Понимал Сашка, что, пока дойдет он до санвзвода, пока придет оттуда помощь, будет уже поздно и единственное, что он может сделать для этого человека, — остаться с ним, пока не умрет тот. Но такое бездействие не по Сашке, да ему и самому в тыл нужно, нужно скорей уйти отсюда. Немец пока приутих, но может и по новой начать. Так что же делать?

— Я пойду все же, — поднялся Сашка. — На тропке заметку сделаю для санитаров, найдут тебя. А так что? Пособить-то тебе ничем не могу...

Раненый не ответил, глаза прикрыл, только дышал взхлеб с хрипом.

— Слышишь? Пойду я. Ты потерпи, я мигом. И санитаров пришлю. Ты верь мне... верь.

— Прощай, парень...

— Ты дождись только. Обязательно дождись. Понял?

— Иди...

Сашка тронул холодную мягкую руку, сжал несильно и пошел. На тропке прочертил штыком глубокую стрелу и нацарапал «раненый». Вроде все сделал, а на душе как-то нехорошо.

На подходе к Чернову увидел он мечущихся из стороны в сторону бойцов, растерянно и зло кричащих командиров, видать, новая часть прибыла. Вдруг им на смену? Хорошо бы. Тогда отвели бы их битую-перебитую на отдых, тогда не так совестно, что один он живым выскочил. И свиделись бы, может.

Но надо же, завтра первое мая, а вновь прибывшие все в белых новеньких, прямо со склада, полушубках и валенках! Им-то в самые морозы в шинельках пришлось промаяться. Да и для немца примета — новенькие. Вот и угостил их сразу. Это он любит — ошеломить необстрелянных, примять страхом. Их тоже так перед наступлением разметали по всему передку, пустили кровушки.

Возле дома, в котором санвзвод расположен, толпились раненые, все больше из прибывшей части (своего медпункта покамест еще не развернули), — очередь. Видя такое и поняв, что скоро его не перевяжут, протолкался Сашка вперед сообщить о своем раненом.

Запаренный военврач увидел Сашку и, зная его — не раз притаскивал он тяжелораненых, помогая санитарам, — бросил второпях:

— Обожди маленько, видишь, что тут...

— Я-то обойдусь, товарищ военврач, но в лесу раненый в грудь лежит, наш, с нашего батальона. Я там на тропке замету сделал. Надо бы санитаров поскорей, а то не доживет.

— Сейчас пошлю. Ну, что у тебя? Показывай.

— Ладно уж, может, до санроты и так дотопаю.

— Не валяй дурака! Быстрей!

Военврач оглядел Сашкины раны, перевязал и вкатил ему два укола.

— Недолго погуляешь, кость не задета. Уходи скорей, видишь, что здесь творится. Идиотство! Прибыли утром, да еще в полушубках. Из-за них весь сыр-бор.

— Небось нам на смену? — спросил Сашка с надеждой.

— Да нет, — пробурчал врач. — Куда-то в сторону направляются. Ну иди, — врач улыбнулся и подтолкнул Сашку. — Сейчас тебе не больно будет и даже весело.

Сашка растолковал санитарам, где найти раненого, и хотел было уходить из Чернова, но посмотрел, как неспоро поплелись они, размахивая не в лад носилками, и чертыхнулся — знает он этих санвзводовских, на передок арканом не затащишь. Вернутся и скажут — не нашли, дескать, или что помер уже раненый. Кто их проверять будет? А потом, вдруг замету его затоптали или мина в это самое место ненароком угодила? Тогда и будут искать — не найдут. А ведь он слово дал. Умирающему — слово! Это понимать надо. И Сашка крикнул:

— Погодите, провожу вас! — и пошел им вдогон.

Те приостановились и удивленно глядели на Сашку.

— Рехнулся, что ли? — сказал один из них.

— А вдруг не найдете?

— Ошалел от морфину, — произнес другой. — Катись обратно, нечего судьбу пытаться. Мало тебе немец влепил? Добавки захотел?

И впрямь был Сашка словно пьяный немного, и с руки боль снялась. А главное, не страшно ему обратно к передку идти, хоть и «рама» в небе зависла, а после нее, как пить дать, жди обстрела...

Когда подошли к тому месту, и верно, стрелка, нацарапанная штыком, была почти не видна, а надпись «раненый» и вовсе стерта — прошелся, видно, по тропке народ, затоптал.

Раненый лежал там же. Глаза закрытые, но дышал.

— Ну вот, привел тебе санитаров, дядя. Не обманул. Слышишь? — нагнулся над ним Сашка.

Тот глаза приоткрыл, но ничего не ответил, обессилел, видно, совсем.

И тут Сашка, довольный собой, что слово сдержал и что раненый подмоги дождался, не помер, не зря, значит, санитаров он проводил, задерживаться больше не стал и весело, почти рысцей затрусил в тыл.

Над Черновом все еще кружилась «рама», высматривала, зараза, и деревня как вымерла, попрятались все кто куда, и новенькие в полушубках тоже скрылись, и прошел Сашка ее, никого не встретив, ни с кем из знакомых не простившись.

От Чернова дорога шла в низинку, и опять грязь, но тут недолго и до большака, вон и виднеется черными трубами разорища. Деревеньку эту сожженную Сашке не забыть... Тут он со взятым им немцем и стоял, дожидая комбата, маясь и не зная, что капитан с ним сделает за то, что не выполнил он его приказ немца застрелить... Отсюда и повел фрица к штабу бригады, после того как капитан приказание свое отменил.

Большак Сашка пересек и пошел напрямик через поле к виднеющемуся вдали лесу. Не шибко разъезжена здесь дорога, да и дорогой-то не назовешь,

так, протор какой-то, следы тощие, редкие. По ним как по писаному видно — бедует фронт.

От уколов докторских в Сашкиной голове туман приятный, боли в руке никакой, и шел он ходко, глубоко втягивая в себя чистый, пахнущий весной воздух, весной, которая и неприметна была *там*, на передке, где трупный дух и гарь забивали все ее запахи. И идти было хорошо, просторно, не надо под ноги глядеть — ни воронок тут, ни убитых.

Солнце било прямо в глаза, немного пригревало и *радовало*. На передовой его не жаловали и ясную погоду недолюбливали — из-за самолетов. При пасмурном, облачном небе было спокойней.

Когда дошел Сашка до подбора и пахнуло на него пряно хвоей, остановился он, вздохнул полной грудью, снял с головы ушанку, провел рукой по голове и осел на родимую землю, где желтую прошлогоднюю траву отдельными пучочками жила зелень нонешней. Сорвал несколько травинок, поднес к лицу, и только тут непрестанное напряжение, не отпускавшее его ни на минуту, даже во сне, все эти долгие кровавые месяцы нахождения на передке, начало понемногу сходить с него, и радость, что он все же живой, которой не давал до этого хода, нет, не нахлынула на него, а так, потихоньку начала пробиваться, просачиваться в душу... Столь долго держал себя Сашка на замке, что непросто было отомкнуться.

Но все же оживал он помаленьку... Оживал и разрешил себе теперь подумать о Зине, сестренке из санроты, с которой бегал вместе при бомбежках в эшелоне — вагоны их рядом были, — о Зине, которую прикрыл своим телом, когда шпарили «мессера» крупнокалиберными и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли.

Разрешил и сразу же забеспокоился: как она там? Хотя и в тылу она, конечно, от передней линии километров восемь, но это по Сашкиному понятию тыл, а вообще-то фронт тоже — и бомбить могли, и дальнобойной достать нетрудно, и всякое могло случиться.

И опять — в который уже раз — заглушил в себе радость Сашка. Не время еще. Дойти еще надо, встретиться, тогда...

Поднялся Сашка, потянулся, а потом остервенело здоровой рукой начал скрести по всему телу. Пригрело солнышко, и зазудело во всех местах, спасу нет.

Отчесавшись, побрел он дальше и вскоре вступил в сухой светлый сосновый бор, обжитый каким-то войском.

На передовой казалось, нет уже народа у страны, вроде побило всех за одиннадцать месяцев войны (ходили же Паново брать в двадцать штыков!), а людей вон сколько у неоскудной России-матушки! И в землянках настоящих живут, и кухни дымят, и сквозь маскировку танки виднеются, и для артиллерии позиции по всем правилам (у них-то сорокапятки за кустиками стояли). Почему у них в бригаде так все боком вышло, задумался Сашка, но ответа не нашел, только стало на душе спокойней и уверенней от этой уймы народа и техники.

На Сашку поглядывали. На передке, видать, еще не бывали и любопытничали — вот как парня измочалило.

Подошел один лейтенантик молоденький, спросил:

— Ну, как *там*?

— Да ничего, — ответил Сашка и вроде не покривил душой. Издалека все прошедшее не казалось уж таким страшным, будто ничего особенного и не было.

— По тебе видно, досталось, — медленно и как-то раздумчиво произнес лейтенант, покачивая головой. — Закуришь?

— Это с удовольствием. С табачком неважно было.

— А с чем хорошо? — усмехнулся тот, протягивая Сашке завернутую сигарку.

Сашка поблагодарил, а на вопрос отмолчался — незачем лейтенанту раньше времени знать, все у него впереди: и обгорит, и наголодуется, и в грязи извывается...

Тронулся Сашка дальше и минут через несколько дошел до того места, где с начальством повстречался, когда немца вел. Здесь он с этим фрицем и распрощался. Тот все «данке, данке» лепетал и даже руку хотел Сашке протянуть, но сделал Сашка вид, что не заметил, — начальство же вокруг.

Забрал немца капитан из разведки и повел того в штаб бригады, а Сашка вместе с комиссаром, начштаба и другими командирами пошел обратно в Черново. По дороге комиссар спрашивал, чего это немец Сашку благодарил. Сашка ответил, небось за то, что пленил его, что живым теперь немец останется, вот и «данкал». Про комбата и его приказание расстрелять немца Сашка, конечно, ни слова не сказал.

Ну вот наконец и блеснула сквозь сосны Волга крутым поворотом, близится конец Сашкиного пути.

Берег этот угористый Сашка помнил. Лезли на него ночью по скользоте, падали, а кто и обратно вниз соскальзывал. Небо над ними, тогда уже расцвеченное ракетами, показалось и багрянело дальним заревом.

И припомнилась ему та ночная маета, когда знали уже точно — *дошли* ! И уже на рассвете примет их незнаемая и потому жутковатая передовая, и беспрерывно пойдут они утром в бой... В первый бой! А что это такое, ни Сашка, ни шедшие с ним люди еще не знали и даже не представляли, и потому стягивало сердце холодком, а изнутри шла и разбегалась по телу мелкая противная дрожь...

Остановился Сашка... Надо бы порадоваться, что стоит он живой на этом берегу, что достался ему случаем обратный билет *оттуда*, с той, почти необратной дороги на передовую, что развернулось уже на том берегу Бахмутово, целехонькое, непобитое, но сжато еще все внутри, напряжено, не пробиться радости в душу, особенно как подумаешь, скольким его товарищам не выдалось пути назад, сколько осталось *там*, на ржевской земле, перед теми тремя русскими деревеньками...

Внизу по воде сновали туда-сюда две плоскодонки — вот и вся переправа. Волга здесь, правда, неширока, но много ли таким манером перевезешь припасов? И съездов к реке никаких, ни на чем к воде не подъедешь, значит, вручную все, и снаряды, и провизию, на своем горбу по крутизне. И стало Сашке попонятней, почему они так бедовали. Выходит, зря материли начальника ПФС и все тыловые службы. Но уж очень обидно было — жизни люди клали, а ни курева, ни жратвы, ни боеприпасов.

Спустился Сашка к воде и стал ждать лодку. Тут еще несколько раненых, ходячих, находилось. Ребята незнакомые, из других батальонов, но выглядели не лучше. Видать, всем на этом пятаке досталось. Завернули Сашке самокрутку, дали огоньку, но разговора что-то не завязывалось. Все в себе, усталые не впрокор, глаза пустые, равнодушные — поскорей бы в санроту, отлежаться в тепле да сухости, а может, и в сытости. На последнее особо надеялись.

— А по переправе-то бьют, — заметил один из бойцов, показывая на воронки у берега.

— Скажешь тоже, далече же, — ответил другой, но, взглянув на воронки, поежился, словно от озноба. Верить в это никому не хотелось.

— Старые воронки. Чего пугаешь?

— А что? Врежет напоследок, и к рыбкам...

— Не болтай. Раз там уцелели, прорвемся...

Одна из лодок подошла к берегу и стала разгружаться. Сухари в бумажных крафт-мешках с хрустом ложились на землю. У Сашки да и других, наверно, тошнотно зануло в желудках.

— Пожевать бы... — вырвалось у кого-то.

И направились мысли к другому. На завтрак они опоздали, придется обеда дожидаться, а каков он будет — с хлебушком или с сухарями, опять ли пшенка или в тылу чего другого дадут?

В лодку сажались суетливо и, когда отошла она от берега, дружно вздохнули с облегчением — отчеркнет их от войны Волга.

Гребцы не спешили, за день намотаешься туда-обратно, а раненым хотелось, конечно, поскорей.

Шелестенье снаряда услышали все, мгновенно сжались, оползли со скамеек. Сашка свернулся в три погибели, уткнулся головой в колени, закрыл глаза — неужто добьют, гады?

Разрыва он не видел, но, по звуку, близко шарахнуло. Плеснуло водой, закрутило лодку... Потом рвануло еще два раза, но подальше. Гребцы поднажали, и, когда лодка резко ткнулась носом в берег, Сашка открыл глаза и выпрямился.

— Ну что, говорил я, долбанет фриц напоследок!

— Да иди ты к...

Выскакивали все из лодки резво и, не оглядываясь, заспешили от берега, только один Сашка почему-то не заторопился — каким-то слабым был, разбитым... Не хотелось ему таким вот встретиться с Зиной. Он постоял на берегу немного, теребя подбородок и стараясь успокоиться. Хотя и плохо рос у него волос на бороде, но все же колелось. Побриться бы где перед встречей. Да ладно, поймет Зина, что другим возвратиться он не мог, не с тещиных же блинов пришел. Беспокоило другое — как встретятся? Ведь два месяца прошло. И ничего вроде у них и не было... Ну, бегали вместе при бомбежках, ну, рванул он ее в сторону от пулевого веера, прикрыл своим телом, ну, и поцеловались несколько раз... Но когда ночью при разгрузке эшелона глянул на нее, помахал рукой, понял, что роднее и ближе нет у него сейчас никого, а когда она, прыгнув с вагона, подбежала к нему, прижалась холодным мокрым лицом и шепнула, чтоб возвращался он обязательно, что будет ждать его, то

прищемило сердце какой-то сладкой болью и понял он, что готов для этой девчушки в шинели сделать все что угодно, лишь бы было ей хорошо и покойно.

И потом в наступлениях, чтобы унять страх и поднять злобу на немцев, представлял Сашка, что идет он в отчаянные атаки не только для того, чтобы взять эти деревни, но идет защищать и ее, Зину, ждущую его там, за Волгой... И легчало от этого.

Но о встрече Сашка там не думал, вернее, отгонял мысли о ней. А теперь вот должна она произойти, вроде бы неожиданная, но в то же время давно ожидаемая. А как? И потому шел он медленно, как бы оттягивая эту минуту.

Бахмутова он почти не помнил... Тогда ночью темнели углами крыши домов как-то угрожающе и неприятно, знали ведь, приходит конец их пути и ждет их страшное и неизвестное *завтра*.

К приемному пункту для раненых подошел он последним и занял очередь, присев на крыльцо. Наскреб махры, попросил соседа завернуть и жадно затянулся. Рука почти не болела, голод особо не сосал, тело не зудело — вроде бы все хорошо, но волновала предстоящая встреча, и робел он как-то.

Когда подошел черед и направился он в перевязочную, Зину увидеть совсем не ожидал и потому, наткнувшись прямо на нее, похудевшую, с опавшим лицом, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то, а когда осмотрела она Сашку, и слезы.

В помещении, резко пахнувшем лекарствами, находился еще врач в белом халате и незнакомый Сашке старший лейтенант.

Сашка шагнул к Зине, хотел было что-то сказать, непроизвольно потянул руки к ней, но она, отступив в сторону и давая ему проход, почти беззвучно произнесла:

— Проходите, раненый...

Сашкины руки, повисев недолго в воздухе, бессильно упали, а сам он не сдвинулся с места.

— Ко мне проходите, ко мне, — сказал военврач вроде ласково. — Зина, снимите повязку.

Как во сне подошел Сашка к столу, сел на табурет и протянул раненую руку Зине. Она ловко размотала бинт, но, когда присохшая подушечка отрывалась от раны, резануло болью и Сашка еле-еле сдержал стон.

— Пошевелите пальцами. Вот так. Еще. — Врач осмотрел раны, потрогал руку и начал что-то писать.

— Опять в руку. И опять в левую, — поморщился старший лейтенант. — Обратите внимание, доктор. Слишком много у нас таких ранений.

— Перевязывайте, Зина, — пропустил мимо слова лейтенанта врач.

— Я повторяю, товарищ военврач, обратите внимание!

— У него два пулевых ранения.

— Это ничего не значит. Они там умудряются по-всякому делать.

До Сашки пока не доходил смысл этого разговора. Он замирал и таял от прикосновения Зининых рук.

Но потом, поймав на себе подозрительный пристальный взгляд, догадался: этот аккуратненький, поскрипывающий новыми, еще не

успевшими пожелтеть ремнями штабник в чистенькой гимнастерке с ослепительно белым воротничком, не хлебнувший и тысячной доли того, что довелось Сашке и его товарищам, подозревает его, Сашку, что он... сам себя... Да в самые лихие дни, когда, казалось, проще и легче — пулю в лоб, чтоб не мучиться, не приходила Сашке такая мысль.

Кровь бросилась в голову, а горло петлей захлестнуло — не вздохнуть, не выдохнуть. Не помня себя, поднялся Сашка, шагнул на лейтенанта... Будь в руках автомат, невесть чего мог натворить...

— Да ты что?.. Ты что, старшой, сдурел, что ли? Ты что?.. — Дальше Сашка слов не находил, только сжимал до боли, до хруста в костях пальцы правой руки.

Зина, охватив его сзади, потянула к себе, а лейтенант поднялся и цыкнул:

— Молчать! Прекратить истерику!

— Да ты роту... роту собери здесь... и я с тобой обратно на передок какой есть, раненый пойду! Понял? Пойдем! — Сашка захлебывался, выбрасывая все это. — Пойдем с ротой-то? Да в наступление, да в разведку! Посмотрел бы я на тебя *там*. Эх ты... — Сашка выругнулся и, притянутый Зиниными руками, рухнул на табуретку.

Из ран хлынула кровь, в глазах потемнело. Не держи его Зина за плечи, свалился бы на пол.

— Уйдите, старший лейтенант, — сухо сказал врач. — Зина! Морфий.

— Как его фамилия? — потянулся лейтенант к Сашкиной санкарте. — Распустились там совсем...

— Я прошу, выйдите и не мешайте работать, — повторил военврач.

А Сашка, бывалый боец Сашка, у которого все смерти на передке не выжали ни одной слезинки, вдруг забился во всхлипах вперемежку с ругательствами.

Словно в полусне было остальное — как сделала Зина укол, как снова перевязала руку, как украдкой поглаживала его по голове, говоря, будто чужому:

— Успокойтесь, раненый... Успокойтесь...

Очнулся Сашка только на улице, когда солнечные лучи полоснули по глазам, а Зинина рука, сжав его локоть, повела по ступенькам крыльца.

— Что это я?.. Психанул никак? И матерился?

— Ничего, ничего... Идем до палаты. Отдохнуть тебе надо. Успокойся, обойдется все...

— Кто этот старшой?

— Из штаба... А кто по должности, не знаю.

— Вот оно что... Вы тут разве не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил... за немца... А он...

— Ну его! Забудь об этом. Пойдем.

— погоди, закурю, — Сашка полез в карман за табаком.

— Давай заверну.

— Умеешь? — удивился он.

— Научилась, просят раненые-то.

Сашка поглядел на Зину — изменилась она. И не только что побледнелая и похудевшая, а что-то новое в лице и глаза беспокойные.

— Ну, как ты тут?

— Что я? О себе расскажи.

— Что рассказывать? Видишь, живой я...

— Вижу, Сашенька... И не надеялась. Раненые такое рассказывали — сердце холодело. Спрашивала о тебе всех, а смешно, фамилию твою не знаю, в какой роте, в каком взводе, тоже. Никто ничего толком мне ответить и не мог. А целых два месяца... Господи, хоть весточку какую прислал с кем.

— Не до того, Зина, было... — Он опять взглянул на Зину. — Досталось и тебе, вижу. Скулы-то подвело.

— Вначале, когда первые бои шли, раненых была уйма, уставали очень. Сейчас чуть посвободней стало, так о тебе думала, как ты там...

— Думала-таки?

— А как же? Спас ты меня тогда, — сжала она легонько Сашкины пальцы,

— Ну, об этом ты не поминай, — перебил Сашка, а потом, помолчав немного, спросил: — А зачем он приходил в перевязочную-то?

Повернулись его мысли на происшедшее. Все же неудобь вышла — старшего лейтенанта да на «ты», да матом... Не то что Сашка боялся — чего ему бояться, когда самое страшное позади, — но не по себе как-то было. Ведь Сашка боец дисциплинированный, а тут вот как получилось...

— Ты про кого? — спросила Зина.

— Да про старшего этого.

Зина замялась как-то, и он заметил это.

— Кто его знает? Зашел зачем-то... Не помню.

— А ты вспомни, — не отставал Сашка.

Зина помолчала в нерешительности, а потом сказала:

— Ладно, скажу, все равно узнаешь. Завтра же Первое мая. Так приглашал в штаб на вечер...

— На вечер? — недоуменно протянул Сашка.

— Да, на вечер. У них там патефон есть, баян... Танцы будут...

— Какие танцы! Врешь, Зина! Быть этого не может! — почти выкрикнул Сашка, и шатнуло его даже.

— Может, ответила Зина. Еще как может, Саша. Не пойду я, не волнуйся. Еще до тебя отказала.

— погоди. Как же это так... — все еще не приходил в себя он, все еще не укладывалось у него в голове услышанное.

Шагов пятьдесят они прошли, и только тогда смог Сашка осмыслить, что тыл есть тыл, конечно, и у него своя жизнь, что ничего, в сущности, нет зазорного, что будет праздновать он Первомай, что из какого-то НЗ будет и выпивка и закуска... Но то умом, а душой принять этого он не может. Ведь, что ни говори, бригаду-то почти всю побил... До праздников ли тут, до вечеров ли?

— Успокойся, Саша, успокойся. Не пойду я, — говорила Зина, видя, что у Сашки подрагивают губы, а лицо будто почернело.

— Да, не ходи, Зина, — строго так сказал он. — Понимаешь, нельзя это... Веселиться нельзя, когда *все поля в наших* ! Понимаешь?

— Понимаю, конечно. Не переживай ты. Сейчас уложу тебя на коечку, отдохнешь, поспишь... Хлеба принести тебе? У меня есть немного.

Сашка проглотил слюну, но отказался. Еще не хватало, чтобы он Зину стал объедать. Вот табачку бы... Кончился у него.

— Есть у меня, — радостно сообщила она. — Девчата на сахар меняли, а я оставила пачку...

— Надеюсь все же, что вернусь я?

— Не очень, Саша, — как-то серьезно ответила она. — Но все же надеюсь. Как без надежды-то?

Изба, к которой подвела его Зина, была большой, на две половины, и в просторной комнате стояло коек двенадцать — с одеялами и простынями! Даже не верилось Сашке, что ляжет он сейчас в настоящую постель.

Встретила их заунывная, тягучая песня, которую не то пел, не то выстанывал сидящий на койке и медленно раскачивающийся из стороны в сторону раненый — одна рука по плечо отнята, другая без кисти. Этот отвоёвался вчистую.

Зина откинула одеяло свободной койки, но Сашка запротестовал — куда он такой грязный да на простынь, так пока приляжет. Зина помогла скинуть ватник, и он присел.

— Отдыхайте, раненый. Сейчас принесу, что обещала, — сказала она и выскользнула из палаты.

Сашка огляделся, знакомых вроде нет. В их первой роте последнее время все чаще убивало либо ранило тяжело, а здесь все легкораненые — кто в ногу, кто в руку.

— Ну, как *там*? — спросил один, раненный в ногу. — Наступать фриц не думает?

— Вроде нет. А там кто его знает.

— А тут паникуют. Кто ходячие, сразу в тыл мотают. А мне вот на костылях далеко не уйти, сижу, жду у моря погоды...

— Кормежка как? — поинтересовался Сашка. Ни раны, ни уколы, ни волнения не забили противно тянущего из нутра ощущения пустоты.

— Не густо. Та же пшенка. Только с хлебушком.

Сашка вздохнул, ладно... Зато в тепле, в сухости и в покое, а со жратвой перетерпеть можно.

Пение безрукого на всех нагоняло тоску, но как ему скажешь? Понимали, мучается человек и от боли, и оттого, куда же ему теперь без двух рук-то? Куда? И собственные ранения казались пустячными, а о том, что ждало их после выздоровления, не задумывались, привыкли на фронте жить часом, а то и минутой.

Сашка прилег не раздеваясь, — ну, оторву минуток шестьсот! — но сон не приходил.

— А я тут, в санроте, останусь, — сказал он, воображая, как месяц целый, никак не меньше, будет он с Зиной вместе.

— Ну и дурак! — Раненный в ногу погасил чинарик о спинку койки и сплюнул. — Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. И вообще чем подальше отсюда, тем спокойней... А ежели немец поперет? Прихлопнет запросто. Сам знаешь, сколько народу на передке, раздавит сразу.

— Не раздавит. За Волгой людей много. И танки даже есть.

Вошла Зина и, подойдя к Сашкиной кровати, сунула незаметно ему под подушку пачку махорки.

— Не спишь почему?

— Сам не знаю.

— Я к вечеру высвобожусь, приду. Надо спать, раненый, — досказала громко.

Сашке донельзя хотелось прикоснуться к ней, взять ее руку в свою, погладить, но при народе неудобно, да и видел он, не хочет Зина открываться при посторонних.

— Приду... — Зина поглядела на него каким-то особенным, обещающим взглядом, от которого бросило Сашку в жар.

Разговоры в палате плыли тихие — кто о доме, о родных, кто о прошлой жизни на гражданке, о войне не говорили. Только гадали, дадут ли на майский праздник водочки. Уж больно хотелось всем забыться хоть минутно, смыть хмельком воспоминания о фронте, о смертях, о крови, о погибших товарищах. Под них Сашка и задремал.

Очнулся он от шума отодвигаемых табуреток, скрипа коек и, когда открыл глаза, увидел, что почти все раненые стоят. Он тоже вскочил и вытянулся... В палату вошли врач, делавший ему перевязку, тот самый старший лейтенант и комиссар бригады.

Комиссара Сашка видел только раз, на формировании, и еще тогда показался он ему больно неказистым для такой должности — и ростом невысок, и шинель не подогнана, мешком, видать, не кадровый, а из запаса комиссар, а сейчас в сравнении с видным, подтянутым лейтенантом и совсем не смотрелся.

— Сидите, товарищи, сидите, — поспешно сказал комиссар, обводя всех внимательными и, как показалось Сашке, добрыми глазами. — Как самочувствие?

— Обыкновенное. Отдыхаем со всеми удобствами. Только еды пока не хватает, — ответил за всех раненный в ногу.

А Сашка подумал: сказал что лейтенант комиссару или нет?

— Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй... — продолжал комиссар, но безрукий перебил:

— А водочки дадут завтра? На передке не баловали, так, может, здесь попотчуют?

— Обязательно, — улыбнулся комиссар, — и покормить постараемся получше, хотя, сами знаете, положение со снабжением неважное, распутица. Но что-нибудь придумаем.

— А как с эвакуацией? Я в ногу раненный, сам не могу...

— Для машин дороги пока непроезжие, а на подводах отправляем только тяжелораненых. Потерпите, товарищи, вот пообсохнет...

— Тогда и фриц попереть может, — сказал раненный в ногу.

— Есть данные, товарищи, что на нашем участке фронта немцы наступать не собираются.

Сашка приметил на себе взгляд лейтенанта. Он не был злым, скорее любопытным, но стало Сашке опять неловко. Не то чтоб страшился чего, просто происшедшее было противно Сашкиному нутру и он никак не мог отделаться от чувства какого-то неудобства.

И показалось ему теперь, что ничего уж такого не было в подозрениях «старшого». Чего греха таить, были же самострелы. Двоих из трофейной команды засекли, один, совсем пацан, к ним в роту был прислан уже после трибунала — искупать кровью. И Сашка вдруг, еще не зная, чего скажет лейтенанту, спросил комиссара:

— Разрешите обратиться к старшему лейтенанту, товарищ комиссар?

— Обращайтесь, — разрешил тот.

Сашка помялся немного, потом нашелся:

— Вы меня, товарищ старший лейтенант, простите за давешнее... Не в себе был...

— Очнулся, герой? Ну, ладно. Я тоже не прав был, — улыбнувшись и совсем добродушно ответил лейтенант.

— Что это такое у вас было? — полюбопытствовал комиссар.

— Так, погорячились немного, — ответил «старшой» и добавил, обращаясь ко всем: — Завтра, товарищи бойцы, командир бригады будет лично вручать награды. У меня нет с собой списков, но могу сказать почти точно, что кое-кого из вашей палаты можно будет поздравить. — И показалось Сашке, что глянул лейтенант именно на него.

Что ж, вполне возможно. Ротный еще до немца посылал на него наградные листы, но и за немца-то должны дать обязательно. Сашка заулыбался — меньше, чем «За отвагу», быть не должно, а может, и «звездочка»...

Когда начальство ушло, угостил Сашка на радостях всю братву Зининым табачком, и мутный осадок, остававшийся с утра, разошелся в его душе совсем. Доволен он и что с лейтенантом вроде улажено, и что награда впереди почти верная. А потом и обед — правда, не очень, та же пшенка, только погуще и с хлебушком — окончательно поднял Сашкино настроение, и продремал он в покое почти до вечера.

Проснувшись, вышел Сашка на крыльцо покурить и воздухом свежим подышать. Солнце еще высоко было, но подходило уже к западу, к передовой. Там оно закатывалось за Овсянниковом и раскаляло разбитую эту и не достигнутую ими деревеньку докрасна, и после маялись они в ожидании обстрела — немец был точен и бил в аккурат после захода солнца.

И представилось Сашке, как через час будет дрожать его родная рота в продувных шалашиках и как кого-то беспрерывно сегодня прилепнет, пожалуй, сержанта — не понравился он Сашке сегодня утром, — и как ротный будет говорить стоящим около убитого бойцам: «Ребятки, только без сантиментов, война есть война», — и как закидают того лапником, а потом разбредутся по своим лежкам, выскребывая из карманов последние табачинки.

И смутно стало на душе и вроде стыдно, что находится он сейчас в тихом, словно дремлющем в майском вечере селе, где звенят ведра у колодцев, негромко перебирает лады гармонь, вьются приятно пахнущие дымки из

труб, где ходят люди спокойно, не таясь и не крадучись, не ожидая ни шальных пуль, ни минометного обстрела, а его товарищи и его ротный — там...

Зина пришла не сразу после ужина, а когда все раненные улеглись по постелям, и присела около Сашки.

— Ну вот, пришла я. Как ты тут?

— Нормально. Тебя ждал.

— Я спиртику малость достала, — сказала шепотом. — Ночью у вас дежурить буду, а пока свободная...

— Знаешь, приходил этот «старшой»...

— Ну и что? — с тревогой перебила Зина.

— Порядок... Прощения я попросил за мат-то...

— Ты — прощения? Это он должен...

— Он тоже неправым себя признал. Так что порядок, Зина.

— Ты правду говоришь?

— Конечно.

Зина помолчала немного, поглядела на Сашку, хотела что-то сказать, но потом тряхнула головой, раздумав, и проговорила безразлично:

— Вот и хорошо, — и стала разливать спирт, Сашке в кружку, а себе в мензурку. Потом достала хлебца немного и... — Смотри, что раздобыла, — и показала ему соленый огурец. — У хозяйки выпросила. Здорово?

— Здорово! С гражданки не ел.

— Ну, давай, Саша... За твое возвращение и за праздничек...

— ...за победу, Зина, — серьезно и проникновенно досказал Сашка.

— Конечно. Но главное, за то, что живой ты... Правду сказать, в последние дни совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то... что в эшелоне, и вот все, не встречу тебя никогда больше... Не поверишь ты, а я тогда, честное слово, впервые в жизни целовалась... Ну, чокнемся, Сашенька, только тихонечко.

Спирт огнем прошелся по Сашкиному телу, и стало ему хорошо, так хорошо, как никогда в жизни. Зинина рука лежала в его заскорузлых обожженных пальцах, и тепло от нее доходило до самого его сердца.

И отошло куда-то все, что было в эти месяцы, ушло страшным сном, стало небылью, а в мире только эта изба, неяркий свет керосиновой лампы, тишина, прерываемая неровным дыханием раненных, и Зина, ее руки, ее глаза, смотрящие на него ласково и жалостливо.

Ничего-то она не спросила о том, что было там. Видно, знала все — не один раненый прошел через ее руки, и рассказывали, и жаловались, — и потому в ее взгляде видел Сашка какую-то смятенность и сострадание.

— Как чувствуешь себя, родненький? Рана не болит?

— Не болит, — соврал Сашка. К вечеру-то рука заныла.

— Может, пройдемся до Волги? Сможешь?

— Смогу, конечно, — обрадовался он и подумал, какое счастье его ждет — побыть с Зиной наедине, без людей-свидетелей.

Было еще не темно... Солнце, правда, уже ушло за правый кряжистый берег, но еще не закатилось совсем. Там оно еще висит над Овсянниковом и

его отблески кроваво полосят небо и сжигают рваные края темного, растянувшегося по всему горизонту облака.

Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли, крепко прижатые друг к другу, так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела.

— Я сюда часто приходила вечерами. Смотрела на небо и думала, думала... И всегда оно страшное было, словно в крови, — Зина крепче прижалась к Сашке. Думала, как ты *там*? Живой ли? Или отмучился?

Они остановились... Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него.

Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы. И не верилось, что сейчас он может опять прижаться к ним и испытать ту же острую сладость, которую испытывал тогда, когда отстрелявшиеся «мессеры» с воем уходили от эшелона, а он медленно притягивал ее лицо к своему и касался ее губ... Они замирали, а в их придавленные страхом души опять возвращалась жизнь.

И оба оттягивали поцелуй, но, когда их губы сошлись, все было так же, только без той отчаянной горькости, какая была в тех поцелуях после бомбежки, когда думали они, что это последнее в их жизни, что вот-вот возвратятся самолеты опять и что будет, неизвестно.

А теперь Сашка сможет целовать Зину и завтра и послезавтра... И казалось это ему чудом.

От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, немного потом, и Сашка знал, эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут связаны с нею, с Зиной, всегда будут напоминать об этом вечере. И он упивался ими, близостью Зины, но, даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания — только нестерпимая нежность заполняла до краев.

Вначале это не встревожило его, но когда разморенная поцелуями Зина сама прижалась к нему, распахнув шинель, и он почувствовал ее *всю*, и его рука невольно пошла вниз по Зининому бедру до края юбки, а потом, приподняв ее, пошла вверх по шершавому в резинку чулку и, пройдя его, наконец коснулась голой горячей Зининой ноги, и тут Сашка ничего в себе не ощутил, и его рука, остановившись на миг, обескураженно пошла вниз.

— Потом, Сашенька, потом... — зашептала Зина. — Пойдем дальше, там скамеечка есть, — и потянула его по тропке.

Слева от них зеленовато поблескивала река, зримой чертой отделяя мир этот, в котором Сашка сейчас, и мир тот, в котором он находился еще сегодня, и ему представилось, что не взаправду все это, а сон, который вот-вот прервется, и он заспешил.

— Далеко еще?

— Сейчас, родненький, вон у той сосны.

Хотя Сашка и не был опытен в любви, он чувствовал, позволит ему Зина все, и потому, когда подошли к скамейке, он не грубо, но настойчиво стал приваливать Зину на нее.

Но и тут — когда совсем близко живое, трепетное женское тело, к которому не прикасался по-настоящему целую вечность, — в нем никакого ответа, словно ничего мужского в нем нет.

Сашка недоумевал, не понимая, что же такое с ним сотряслось, а Зина уже мягко отталкивала его от себя, пришептывая:

— Не надо, Сашенька, потом... Слабенький ты сейчас, израненный, не надо... Вот что с тобой сделали-то... Господи...

Она взяла черную, обгоревшую Сашкину руку и припала к ней губами.

— Не надо, — смутился Сашка, отнимая свою руку, которую жгли Зинины слезы. — Ну, что плачешь? Пройдет это...

— Не о том я, глупенький... Но что сделали-то с тобой...

И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, даже рада, что не вышло у них ничего, — уж больно скоро она стала его отталкивать... И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого, и слова-то она говорила все жалкие: родненький, глупенький, бедненький... Может, из жалости и решилась на все да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной?

Стал он гладить Зинины плечи, и тоже жалость к ней пронизала душу — потерянная она какая-то, не такая, какой была в эшелоне, будто гложет ее что-то...

— Достается вам тоже, Зинок?

— Да нет. Мы ж под смертью не ходим. Разве сравнить.

Они помолчали немного, потом Сашка спросил:

— Пристают мужики-то?

— Пристают, — просто ответила Зина.

— А этот... «старшой», не лез к тебе?

— Понимаешь, Саша... — не сразу ответила она. — Нравлюсь я ему. Ухаживает он за мной, но... по-хорошему, без глупостей... Понимаешь?

— Понимаю.

— Гулять приглашал не раз...

— Ходила? — с тревогой спросил Сашка.

— Ходила, — чуть замявшись, дала она ответ. — Два раза ходила.

— Ну и что?

— Ничего. Он до меня даже пальцем не дотронулся... А вообще-то, Саша, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же...

— Останусь у вас, при мне никто к тебе лезть не посмеет.

— Конечно, милый, — без особой уверенности сказала она. — Месяц у нас только, Сашенька... А что потом, родненький? Что потом? — всхлипнула опять Зина.

Что потом, Сашка не знал и ответить ничего не смог, только привлек ее к себе, потянулся губами, прижался... И прервала их поцелуй неожиданная вспышка на том берегу — первая ночная ракета. И смотрели они на мерцавшее недолго — минуту-две — небо и как потухло оно, погрузив опять в темень правый берег с соснами на нем.

А подумалось Сашке почему-то — вот такой же короткой, как вспышка ракеты, и будет их любовь... Погорит недолго, согреть как следует не успеет и... погаснет — разведет их война в разные стороны.

Наверное, и Зине пригрезилось то же, потому как вздрогнула она, сжалась комочком и затихла у Сашкиного плеча.

Так и сидели они, примолкнувшие, отрешенные от всего, связанные негаданно пришедшей любовью, любовью ненадежной и зыбкой, как ненадежна и непрочна была их жизнь вообще в эту лихолетнюю весну сорок второго года, весну подо Ржевом.

И, словно напоминая им об этой ненадежности, на западе мертвенно и угрозно вспыхивало небо и глухо рокотала артиллерийской переголосицей недалекая передовая...

Еще глубже пронзила Сашку жалость к этой прижавшейся к нему девушке в военной форме, дарившей ему себя и свою любовь без всякой надежды на долговость, на крепость, без веры в хоть какое-то будущее. И он подумал: пожалуй, даже хорошо, что не случилось главного... Которое, может, и не главное совсем, а так...

С реки несло прохладой, но Сашке было жарко, видно, температура поднялась, и, как всегда при тепле, зазудело тело.

— Как бы не набралась от меня, — сказал Сашка, осторожно отодвинувшись от Зины. Она тихонько засмеялась:

— Это не самое страшное, Сашенька... Пойдем, милый, пора мне, да и ты, вижу, притомился.

— Есть малость.

И они пошли слитно друг к дружке, и опять Сашка ощущал сладостное колыхание Зинино бедра у своей ноги.

— А меня не погонят от вас в госпиталь какой? — затревожился вдруг Сашка.

— Нет. Но тебе-то в тылу будет лучше, чем у нас...

— Без тебя-то? Нет. Понимаешь, должны же нас сменить наконец. Тогда и на формировании вместе будем. Вот что загадываю.

— Хорошо бы, — вздохнула Зина.

А недалекая передовая непрестанно давала о себе знать то негромким похрипыванием, то взблеском ракет, то красными нитями трассирующих, режущих небосклон.

— Устал, Саша? Замучила я тебя. Не надо бы сегодня ходить, не отдохнул ты еще.

— Ну что ты. Хорошо же было...

— Вот вернемся в палату, уложу тебя, дам снотворного, выпишься как следует, — Зина ласково провела рукой по Сашкиной щеке.

— Небритый я... Да и вообще грязный я, оборванный...

— Будто я не знаю, откуда ты, — махнула она рукой.

— Тут у вас все чистенькие, побритые...

— Ты ж с войны настоящей, Саша, разве я не понимаю, о чем говорить.

— Да-а, — задумчиво протянул Сашка. — Война была взаправдашняя, это ты верно сказала. Видишь, что со мной наделала. Ты уж не обижайся на меня... Усталый я сильно. Очень усталый, — повторил он.

— Глупенький, ты опять о том же. Понимаю я все. Отлежаться тебе надо, отдохнуть...

Последние метры перед селом Сашка насилу шел.

В палате уже все спали — кто храпел, кто подстанывал, а кто и вскрикивал во сне, — только обезрученный сидел на койке, уставившись в одну точку.

— Заверни, браток, — поднял он глаза на Сашку.

Научившись за день справляться с сигаркой одной рукой, Сашка свернул, прижег и, присев рядом, прямо в рот сунул тому самокрутку.

— Вот какие дела, парень... Куда я теперь? Прибило бы лучше... Тебе-то повезло.

— Да, повезло, — согласился Сашка.

Зина оправила ему постель, взбила подушку и сказала:

— Ложитесь, раненый.

Сашка усмехнулся. Да и верно, зачем кому знать, что у них промеж собой.

— Сейчас, сестрица, покурим с товарищем, — ответил он в тон ей, и Зина тоже улыбнулась.

Так он и просидел с раненым, пока тот не докурил, то давая ему в рот сигарку, то отнимая, словно малому дитю соску.

Подойдя к постели, Сашка подивился еще раз. Когда же он спал раздетый до белья да на простыне, дай бог памяти? И оказалось, что с двадцатого ноября, как сел в эшелон на далекой приморской станции, не видел он настоящей постели.

Долго возился он со шнурками от ботинок — заскорузли и пригорели намертво, хоть режь их, — но все же осилил. Но гимнастерку снять позвал Зину. Не лезла забинтованная рука в рукав, хоть и разрезанный, пришлось еще подрезать, а гимнастерка-то хорошая, суконная, теперь одно — выбросить, а жаль. Когда Зина принялась за брюки, Сашка застеснялся, но она ловко стянула их, не дав ему и опомниться, и остался он в бежевом трикотажном белье — неудобно, будто голый, — и нырнул скорей под одеяло.

Зина дала ему выпить чего-то горького, сказав:

— Я тут буду, только выходить придется, у меня в трех избах раненые. Спи, родненький, — добавила совсем тихо. — Спи...

Сашка растянулся на койке блаженно — ну вот, посплю сегодня по-людски.

Гармоника, тихо наигрывавшая целый день, перебирая разные мотивы, сейчас заливалась вовсю — и «Катюшу», и «Синенький платочек», и какие-то вальсы.

— Празднуют штабные-то, — хриловато и недобро сказал безрукий.

— Шут с ними, пусть веселятся, — равнодушно ответил Сашка.

Это утром, когда Зина сказала об этом, вспыхнуло в нем злое, а теперь разошлось.

— Веселиться-то вроде не с чего... — хмуро продолжил тот, покусывая губы.

— Праздник все же... Ты, брат, не завидуй. Этот пирог на всех. Сегодня они тут, в тылу, а завтра *там* могут оказаться.

— Тебе-то что, поднесла сестрица выпить. Знакомая, что ли?

— Знакомая. Дадут завтра всем, обещал же комиссар.

— Они дадут... Много тебе на передке водочки доставалось? То-то и оно, — добавил он, не дожидаясь Сашкиного ответа.

Думал Сашка, что уснет сразу, но не получилось. И на постели как-то непривычно, и подушка вроде ни к чему, да и рука ныла.

За день не пришлось Сашке о доме подумать, о матери. Занято все было Зиной, а сейчас подумалось — непременно завтра письмо отписать, что раненый он, что в госпитале, чтоб не беспокоилась мать. С передовой он только два письма отправил, да и неизвестно, дошли ли. Если бы не война, осенью сорок первого отслужил бы он кадровую и был бы дома, а дом Сашкин не так уж далеко отсюда — верст триста. Ерунда расстояние, если с Дальним Востоком сравнить, где служил Сашка срочную.

Но он и не задумывался о том, что может он, пока раненый и вне строя, до дома своего добраться и повидаться с матерью. Слишком дорога для него сейчас Зина, и покинуть ее и в голову не приходило.

Слышится ему, как возится она сейчас в своем закуточке, и сладко ему от ее близости и покойно. Уже засыпая, услышал он Зинины шаги, ощутил на своем лбу ее прохладную ладонь — вот и избыл этот первый тыловой день, оказавшийся для него совсем не легким, а каким-то заботным и сумятным, — и великий покой сошел на Сашку, покой, которого не знал долгие и тяжкие месяцы фронта.

Ничего ему не снилось — ни плохого, ни хорошего, — и потому не понимал он, почему проснулся с тоской, точно такой же, как в тот день на передовой, когда нагрянула на них немецкая разведка.

Еще глаза не открыл, как придавила голову безысходная мысль — не пережить ему эту войну... Потому как в пехоте он и судьба его ясная: передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну, раз, как сейчас, ну, два... Но не вечно же? А война впереди долгая. И не избежь ему, что в каком-то из боев прибудет его насмерть.

— Зина... — позвал он тихо.

Но подошла к нему не она, а незнакомая медсестра.

— Что вам, раненый?

— А Зина где?

— Вышла Зина. Что, рана болит?

— Да нет.

— Тогда спите, раненый. — Она отошла, а Сашка полез за махоркой.

Поначалу он не забеспокоился — говорила же Зина, что выходить будет, не одна у нее палата, надо и за другими ранеными приглядеть, — но сон ушел, и, как ни старался уснуть, ничего не выходило.

Мысли смутные он прогнал. Научился он *там* не давать воли ни тоске, ни надежде. И сейчас вроде бы ни о чем плохом не думал, только хотелось отчаянно, чтоб пришла Зина, прикоснулась опять ко лбу, погладила по-матерински... И может быть, тогда опять обрел бы Сашка покой и безмятежность, но она не шла, и драл Сашка горло дымом «моршанской».

В штабе все еще гуляли. Вперемежку с гармонью играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе... Давно это было. И тихие вечера в дальневосточном полку, и приятные разговоры с ребятами о скором увольнении, и задумки о будущей жизни на гражданке...

Сколько прошло времени, час ли, два, Сашка не заметил, только не выдержал более и встал. Натянув брюки и кое-как приладив ботинки, вышел.

В Зинином закутке сидела та незнакомая сестра и, привалившись к столу, дремала.

— Чего тебе? — проснулась она сразу и спросила недовольно.

— Зина не вернулась еще?

— Чего тебе далась Зина? Сказала же я...

— Где она?

— Ну... вызвали ее.

— Куда вызвали?

При свете лампы разглядел Сашка девушку — востроносенькая, некрасивая, но губки накрашены, и надушена так, что голова закружиться может. И понял он, что не в других палатах Зина, а там, в штабе, на гулянке.

— Она ж не хотела идти, — упавшим голосом пробормотал Сашка.

— Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали, и пошла.

— На гулянку идти приказать не могут. Не загибай.

— Ну, не приказали, так какой-нибудь предлог нашли. А ты чего беспокоишься, парень? А, поняла... Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?

— Я, — кивнул он.

— Ничего там с ней не случится, — голос ее помягчел. — Поест как следует, выпьет, ну потанцует с кем. Иди-ка ты спать.

Посмотрел на нее Сашка еще раз: видно, готовилась она сама на вечер идти, потому нарядилась так и надушилась, а заставили ее вместо Зины дежурить, и потому особого сочувствия ни Сашка, ни Зина у нее не вызывали.

— Ну, чего стоишь столбом? Иди на койку и не переживай.

— Я и не переживаю, — соврал Сашка.

— Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло...

— Причем здесь время? — не понял он.

— Подумай, — повторила востроносенькая и усмехнулась.

Ах ты, язва, подумал Сашка и чуть было не выругался.

Безрукий проснулся, а может, и не спал совсем или вполглаза, и попросил закурить. Присел Сашка к нему на койку, и задымили, как два паровоза.

В избе было душно. Пахло нечистым бельем, грязными портянками и кислым от волглых, непросохших ватников.

Откурили по одной, закрутили по второму разу, и все молча. Потом отошел Сашка к своей постели.

— А ты плюнь! — вдруг сказал безрукий.

— Ты про что?

— Знаешь про что. Только не думай, что сама она... Приходил лейтенант тот, уговаривал. Она вначале ни в какую — нельзя, сказала, веселиться, когда на передке люди бедуют. А он ей: не на веселье тебя зову, а на прощанье. Отправляют его, как я понял, завтра в батальон то ли ротным, то ли помкомбатом. Ну, тогда она согласилась ненадолго... — Он помолчал немного, а потом добавил не без злости: — Снимет с него стружку передовая-то, а то ходят тут фертами...

Но Сашка тому не зарадовался. Зла у него на лейтенанта не было. А то, что Зина сейчас там, на вечере, затронуло больно, и что-то тошнотное стало

подступать к горлу. Задышал он прерывисто, тяжело и торопливо непослушной рукой стал натягивать гимнастерку.

— Ты-то оклемаешься, — продолжал обезрученный, — это все пустяки, а мне-то как? Как домой таким ехать? Думаешь, примет меня баба?

Сашка надевал брюки.

— Зачем я ей такой? Ей ребят кормить, себя да еще меня, прихлебая...

Сашка наворачивал обмотки.

— И куда податься после госпиталя, ума не приложу. Только не домой, — не переставал тот свое, наболевшее.

Сашка накинул телогрейку и поднялся.

— Куда надумал? — спросил безрукий с тревогой.

— На двор выйду. Духота здесь.

— Ты смотри, браток, без глупостей. Оружия-то трофейного нет у тебя случаем?

— Нет. Был «вальтер», ротному подарил.

— Ну, ладно, приходи скорей. Чую, без сна будет у нас эта ночка. Вдвоем-то с разговором легче.

Сашка вышел на крыльцо. Темно, тихо. Музыка из штабного дома умолкла. Боец из охраны, проходивший мимо, шикнул на Сашку, чиркнувшего «катюшей». Сашка махнул рукой — тоже мне вояка, за столько верст от немца искры боится. Они на самой передовой такие костры запускали, и ничего.

Спустился он с крыльца, присел на завалинку и стал перебирать в уме все, что произошло у них с Зиной на прогулке. Другая она какая-то стала... Вот распахнула себя для Сашки, а как-то без легкости. Вроде и сама вела его к скамейке, но как-то безохотно, хоть и торопилась, словно точку какую-то на чем-то поставить хотела. Это он и тогда почувствовал. Может, потому и не получилось у него ничего, что уловил он Зинино нежелание тайное? Верно, есть у нее кто? А если и есть, то не кто другой, как лейтенант этот. Почему и нет? Из себя видный. И звание подходящее. И должность. С таким будешь, никто не пристанет, всплыли Зинины слова о том, что не выдерживают девчата, сойдутся с кем, чтоб другие не лезли. А может, и любовь у них настоящая? Говорила же Зина, хороший он. Живым живое. Сама говорила, что надежду на Сашкино возвращение потеряла в последнее время. И это понять можно. Представил он, что могли ей рассказывать раненые, ужаснутые первыми боями...

Да нет, успокоил себя Сашка, не должно быть так. Сказала бы Зина прямо: так, мол, и так, прости и не обессудь. Разве повела бы его тогда она к Волге? Нет, конечно. Ну а на вечер пошла просто потому, что неудобно отказаться, раз завтра на передок уходит лейтенант. Это понять можно.

Но все же мысль, что могут обидеть Зину там, на вечеринке, промелькнула и ожгла болью. И то, что музыка кончилась, показалось Сашке приметой того, что расползлись празднующие по углам тискать девчат и что Зину тоже тянет этот старшой... А он, Сашка, сидит здесь на завалинке и ничего, ничего не может сделать, ничем помочь.

И такое же унижительное отчаяние бессильности, какое бывало на передовой, когда немец накрывал их снарядами и минами, а им нечем было

ответить, охватило Сашку, и, еще не зная, что будет делать, поднялся он и быстро запетлял огородами, чтоб не столкнуться с патрульным, к тому дому.

Он хорошо виднелся белым фасадом, да из окошка второго этажа еле заметной полоской пробивался свет из-под маскировки.

Обошел он его издалека, чтоб не заметили часовые у дверей, и приблизился к дому с другой стороны, где был не то сад, не то парк какой, и затаился за деревом.

Опять взвизгнула гармонь с переливами, раздалась песня, и слышны были даже разговоры и смех девчат.

Сашка заостенело стоял, привалившись к стволу, стараясь в шуме голосов услышать ее, Зинин, голос, но напрасно. Кончилась песня, и вскоре завели там патефон, и послышалось ему шелестение шагов — танцуют, верно.

Может, и правда, как сказала востроносенькая, выпьют, закусят, потанцуют, и ничего того страшного, что мерещится Сашке, и не произойдет, и вернется Зина, как была.

Но даже если и так, то все же не дело это, подумал он. Рассказать про такое ребятам на передке — осудили бы непременно и поматерились бы обязательно. Что ни говори, пока война, пока истекает кровью его батальон, пока белеют нижним бельем на полях незахороненные, какие могут быть праздники, какие танцы?

Конечно, понимал Сашка, что любого из тех, кто веселится сейчас в штабном доме, в любое приспевшее время могут мигом отправить туда, к смерти, от которой счастливым случаем ушел сегодня Сашка и навстречу которой пойдет утром старший лейтенант, но все же...

Патефон нес из окон знакомую давнюю песню «Любимый город может спать спокойно...», песню, под которую и началась для него война в июньский теплый вечер у танцплощадки в дальневосточном полку... Ребята посмелее танцевали с боевыми подругами, женами командиров, а Сашка стоял, покуривая, и слушал музыку. И лились тогда эти же задевающие за сердце слова, словно для Сашки и его одногодков сложенные: «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» — и вдруг оборвались, прохрипел динамик «важное сообщение», и пошла речь Молотова.

А после нее закричал кто-то визгливо: «Тревога! Боевая тревога! По подразделениям!» — и побежали они по своим ротам. В небе гудел самолет, и тревожно царапала мысль — не начнет ли теперь Япония? И, несмотря что вечер был тих и ясен, показалось им, будто потемнело небо. До ночи простояли они на плацу в полном боевом, а когда распустили, в курилке было необычно — ни смеха, ни шуточек, ни ласкового матюжка... Понимали, ворвалось в их жизни необыкновенное, очень важное и страшное, что станет их судьбой. Правда, тогда грезились им еще и подвиги, и поступки геройские, которые совершат они непременно, лишь бы война не мимо, лишь бы не просидеть ее на востоке. И потом, после всего совершенного, вернутся они героями по своим домам — и «...любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд...». Да, приманчива была война издали.

Вот и прошел Сашка не все «бои и войны», прошел только одну свою первую, не ахти какую долгую, всего в два месяца войну, прошел вроде честно, не давая себе послаби, и стоит он сейчас, переломанный и умаянный малой

этой войной, в чужом селе, около чужого дома и слушает для него написанное, но не для него сейчас предназначенное: «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» — и даже покурить ему здесь нельзя, вдруг заметят и пойдут расспросы, зачем он здесь и для чего.

И эта, казалось бы, мелочь, что нельзя ему здесь курнуть, вдруг сжала Сашкино сердце горькой, унижительной жалостью к самому себе, что бывала только в детстве, когда выплакивал он свои обиды, прижавшись к материнским коленям. И почувствовал он себя почему-то таким чужим здесь, никому не нужным, чего никогда не бывало на передовой, где все были свои, как бы родные, даже комбат и комиссар, не говоря уж о ротном...

А из окон несло: «...Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят, любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...»

И только один у него здесь родной человек — Зина, и та не с ним, а там, за окнами... И представилось Сашке, как липнет лейтенант к ней, как тянет ее где потемнее, как шарит жадными пальцами по ее телу... И забродило в душе страшное: если обидят Зину, махнет он обратно на передок, заберет у ротного свой «вальтер», а там будь что будет...

И только мысль, что не одна же там Зина с лейтенантом, народу много, возможно, и комиссар сам там, а при нем никакого баловства никто допустить не посмеет, умирила Сашку немного.

Но все равно нарастало комом в груди что-то холодное, тяжелое, подступало к горлу, давило... И пойти бы ему сейчас в палату, броситься на койку, забыться, не держат же ноги совсем, как-никак оттопал он сегодня без мала верст пятнадцать, но неотступен Сашка в своем решении дожидаться Зину во что бы то ни стало. Он и не подошел бы к ней. Только посмотрел, что возвращается она веселая и необиженная. И за вечер корить бы не стал. Сделал бы вид, что и не знает.

И намедлил — услышал Зинин голос! Но не там, где музыка, а прямо из ближайшего к нему окна. Не разобрать что, но мерещится ему что-то жалкое, упрашивающее, а мужской голос по-пьяному настырен и с приказными нотками.

И тут будто разорвалось что в Сашкиной голове — что делать-то, что делать?

Бросился он вперед, поближе к окну, а там уж громче Зинин голос, и чудится Сашке даже зов о помощи, и тогда, не помня себя, нашаривает он рукой на земле что-то твердое, не то камень, не то кирпича обломок, и еще минута... рванулась бы в броске Сашкина рука, но окно вдруг раскрылось и в его проеме беловато засветилось Зинино лицо, и услышал Сашка уже явственно, как сказала она стоящему за ее спиной лейтенанту.

— Не надо, Толя... — и отвела его руки мягко и несердито.

Вздыбись рядом земля от взрыва, не ошеломило бы так Сашку. И ни слова, ни обращение по имени, а вот жест этот покойный, даже ласковый, каким отвела она его руки, словно имеет она силу на лейтенанта, поразил Сашку в самое сердце и уверил его, что любовь у них...

Словно ударом под вздох надломило Сашку и откинуло назад. Медленно пятясь, не сводил он глаз с окошка, где неясно мерцали два плывущих и

колеблющихся пятна — Зинино и лейтенантово лица... Они говорили еще о чем-то, но Сашка не вникал...

Так и пятился он, пока не ткнулся локтем раненой руки о ствол дерева и не сдержал матерного вскрика. И замолкли тогда в окне, и высунулись, прислушиваясь... Тогда, повернув резко, побежал Сашка, не разбирая дороги, натываясь на деревья, царапаясь о кусты, не таясь уже никого, все держа еще в намертво сведенных пальцах ненужный уже кирпич. Бежал как оглушенный, разодрав рот в беззвучном крике, — не закричишь же... Это *там*, в наступлениях, выхлестывали они в протяжном «ура-а-а» и боль, и отчаяние, а тут подвалило к горлу, а не выплеснешь.

На крыльце стояла Зинина сменщица и смотрела на штабной дом, откуда опять грохнула музыка, и «Синенький платочек» в который уже раз поплыл над селом. Она глянула на Сашку удивленно и вроде вознамерилась спросить что, но, разглядев почерневшее Сашкино лицо, смолчала, поняв, видать, откуда он прибрел.

Палата пахла на Сашку спертым, тяжелым духом... Чуть заметным огоньком чадила керосиновая лампа. Не раздеваясь, рухнул он в постель, моля бога, чтоб не заговорил безрукий... Рухнул лицом в подушку, закусил губы, чтоб стон не прорвался, и лежал так, будто омертвелый, только в душе клокотала и билась шальная мысль — завтра же утром на передок податься, пусть добивают...

И только под утро, когда зажелтелось чуть небо, смог он поразмыслить обо всем малость спокойней — не один он на свете, и нет у него права своей жизнью самовольно распоряжаться. Мать у него, сестренка малая... И опять, перебрав все, что у него с Зиной за тот день и вечер было, припомнив опять разговоры их все и представив ее жизнь тут за эти месяцы, пришел он к тому — неосудима Зина... Просто война... И нету у него зла на нее...

А за горизонтом тем временем вспыхнула последняя ночная ракета, плеснула в окошко далеким мертвенным, будто нездешним светом и, посветив недолго — минуту-две, — отгорела...

3

Уже совсем обутрело, когда Сашка и еще двое раненых из ходячих приостановились у края села на совет. Продуктов им на дорогу не дали, только продаттестаты, отоварить которые можно будет лишь в Бабине, что в верстах двадцати отсюда. Вот стояли и гадали, дойдут ли за день. А если не осият, то где ночевать, где покормиться? Правда, особо не сомневались, что их-то, Родины защитников, должны удовлетворить в деревнях обязательно, неужто картохи да хлеба кус не заработали они своим ратным делом? Только деревень-то живых по дороге мало, тем более по большакам, а крутить им другими путями без удобства — и заблудиться можно, и путь удлинить, а силенок маловато.

Сашка в разговор не мешался, как-нибудь доберутся, лишь бы поскорей из Бахмутова. Потому и пристал к этим двум, которые решили подальше в тыл податься, где и жратва должна быть погуще и где немец, если поперет, не достанет.

Скользнул он последним оглядом по селу, по штабному дому, белеющему вторым этажом, и вздохнул. А ребята уже тронулись. Докурил Сашка сигарку, сплюнул и пошел вдогон...

А верст через двенадцать обессилели они окончательно, а до этого Бабина, где продукт обещанный, еще неизвестно сколько, и дойдут ли сегодня, потому как день уже к вечеру клонился, солнце на западе к горизонту запало и потянуло холодком.

Сашка всю дорогу позади плелся не потому, что был других усталей, а просто говорить не хотелось, а один из раненых уж больно болтливым оказался, лопотал что-то все время. А Сашке не до болтовни, весь в своих мыслях, во вчерашнем вечере, проведенном с Зиной. Но из всего, что у них было, не поцелуи вспоминались, не объятия, а как прижималась Зина губами к почерневшим его пальцам, как горячили руку ее слезы. Вот тут и была, наверное, вершина его чувств к ней — и жалость, и нежность необыкновенная. И, когда представлялось это, сдавливало сердце больно — навсегда же расстались. Словно умерли друг для друга, словно листья павшие разнесло ветерком в разные стороны, не сбиться уж вместе никогда.

Остановились впереди двое Сашкиных однопутников, видать, невмочь больше ноги тащить, присели, поджидая Сашку, а он, подойдя, свалился тоже, даже самокрутку скрутить не в силах.

И пошли разговоры, что они в Бабине сухим пайком получить должны, да не на один день, а, поди, дня на три. Это по целой буханке черняхи на брата должно выйти, по несколько пачек концентрата, ну а за жир и мясо по банке консервов каких-нибудь. Такого обилия еды не видали они давно. Замечталось наесться от пуза, за все месяцы, что на передовой голодовали, там к какой-нибудь вдовухе на печку — в тепло и сыть... Уже слюнки пустили, а потом забеспокоились — как бы продпункт не закрыли, пока они здесь прохлаждаются. Кто знает тыловые порядки! Тогда зря вся их торопа через силу — придут к закрытым дверям, что может хуже?

Один из них, в ногу раненный, правда, не сильно, но все же более других намучившийся, сказал:

— А если, ребята, в первой деревне, которая попадется, и заночевать? А с утра прямо в Бабино это, к открытию продпункта. А?

— А жрать чего? — спросил другой.

— Неужто не дадут чего?

— Может, и дадут, — сказал Сашка, — но неудобно... побираться-то.

И призадумались... Вспомнили, как через деревни проходили и интереса к ним никто не проявлял, никто не спросил ни разу: откуда, мол, идете, где ранило, большие ли бои были? Так, пройдутся взглядом, словно невзначай, и отвернутся. Странно им поначалу это показалось, а потом поняли — сотни их проходят за день, дивиться на них нечего, побывное это для людей дело стало, потому и равнодушны. А как поняли, просить поесть чего не решились, как-нибудь до Бабина перетерпят. Махорочкой, правда, разжились у одного деда. Хорошего дал самосада, крепкого, с каким-то желтым цветом, пахучий. Им-то и поддерживали себя на передыхах покуришь, и голод не так сосет, и подбодрит табачок малость.

Да, поняли они кое-что за этот долгий утомный день: и что в тылу голодуха и тяготы, и что на них никто как на героев каких не смотрит. Это когда по Сибири катили, глядели на них все жалостливо, руками махали, приветствовали, а бабы некоторые даже крестом осеняли их вагоны — едут защитники Родины, едут кровь проливать, жизни положить...

А тут пролили они кровушку, а никакого по этому случаю события, никто в ладони не хлопает, никто по этому поводу не умиляется, никто самогону на их пути не выставляет. Конечно, так они не думали, но все же представляли, что будет к ним внимания в тылу больше, а сейчас видели — прошлась война по этим проселкам, по этим деревням, разорила, своих забот полон рот у людей, не до солдатиков, которых и виноватить можно, что допустили войну до них, до глубокого тыла, чуть ли не до Москвы самой... И, когда подходили к кому дорогу спросить, отвечали им охотно, но в лицах напряжение (как бы чего другого не спросили), а отходя, примечали они, как облегченно вздыхали те.

— Вы как желаете, а я больше не ходок. Буду на ночевку проситься, — сказал хромым и поднялся.

— Лады, дойдем до деревни, а там посмотрим, — решил второй, тоже в руку раненный, только в правую, и в шину проволочную упакованную, и встал вслед.

И поплелись они, тяня шаг, вздыхая и побряхывая... Вскоре вышли к небольшой деревеньке, домов десять — двенадцать, и постучались в избу, что побогаче выглядела, с наличниками резными и палисадом из штакетника, но никто не отзывался. Постучали во второй раз, тоже ни звука. На душе смутно — никто из них в странниках не был, никто сроду не побирался, а вот довелось, стоят, будто нищие.

Раненный в ногу озлился, застучал палкой в окошко, да так, что чуть стекло не разбил. Отодвинулась тогда занавеска, и выглянула старуха древняя.

— Переночевать, бабка, требуется. Раненые мы. С фронту идем, — сказал он грубовато и настырно.

— Вижу, родимые, вижу, — запричитала старуха. — Только опоздали вы. До вас калечные пришли, все места заняли. — А глазами шаркает, прямо не глядит.

— Пошли дальше, ребята, — не выдержал Сашка, но в ногу раненный не успокоился:

— А не врешь, старая?

— Ей-богу, родимые... Зачем врать-то. Разве жалко?

— Лады, спасибо этому дому, пойдем к другому, — взял за рукав хромого третий из них, разговорчивый сильно.

— Врет же она! — упирался хромым.

— Если и врет, силой же не попрешь. Пошли, ребята, до места, — махнул рукой Сашка.

— Вы идите, а я здесь ночлега просить буду. Не могу больше топать, и все! Бывайте... — И раненный в ногу заковылял в дом напротив, Сашка и другой раненый пошли дальше.

— Нам с тобой расставаться не след, у меня левая целая, у тебя правая. В общем, две руки на двоих — не пропадем! — весело закончил раненный в руку.

Сашка посмотрел на попутчика, вид у того какой-то ошалелый, глаза чудные, и улыбка с лица не сходит. Всю дорогу слышал Сашка, как говорил тот без умолку, похохатывал, рукой здоровой размахивал, словно чокнутый какой. И сейчас совсем вроде не расстроился, что в ночлеге отказали, что переть еще неведомо сколько.

— Ты чего скучный такой идешь? — спросил он Сашку.

— А чего радоваться-то?

— Как чего? Живые ведь... Понимаешь, живые! Из такой мясорубки — и *живые* ! Как же не радоваться?

— Тяжелая у тебя рана?

— Кость перебитая. Месяца два, а то и три отваляюсь верняком. Думаешь, мне жрать неохота? Думаешь, не устал я? Но все это мелочи жизни. Главное, солнце вижу, небо, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев! Это же понять надо! — Он опять хохотнул чудно, а Сашка покачал головой — впрямь парень тронутый.

Сам Сашка особой радости не ощущал. Давила грудь разлучная тоска, да и дорога эта среди пожарищ и разора на веселье не располагала.

Правда, когда с большака сходили и шли дорогами неезжалыми, там деревни были целые, но в запустении. Много домов покинутых, ни скота не видно, ни лошадей, ни сельхозмашин каких, ну а о тракторах и говорить нечего — туго будет колхозникам весновать. Озими тоже нигде не зеленеет, видно, не сеяли под немцем.

В каждой деревне теперь спрашивали они, как до этого Бабина путь ублизить, и везде отвечали по-разному. И вот что оказалось, сказал один старик вроде точно — не двадцать верст до Бабина, как им в Бахмутове сказали, а все сорок наберется. И позавидовали они хрому, что скумекал тот дальше не топать, а ночевать остался. Теперь и им надо куда-то к месту прибиваться, смеркается день. А тут, как назло, завела их дорога в лес — потемнело сразу, засырело, грязища, лужи огромные обходить приходится. Даже Сашкин однопутчик смешки свои оставил, хотя улыбочка блажная с губ не ушла.

Задумался Сашка... Осенью ровно три года будет, как покинул он свой дом. И с тех пор все у него казенное — и одежда, и еда, и постель, и жилище. Ничего своего у него нету, поди, только платок носовой, да огрызок карандаша, да жалованье красноармейское — двенадцать с полтиной в месяц. До войны на махорку или папиросы дешевые уходило, иной раз в редком увольнении пива кружку выпьешь. Но этим он не тяготился, зато забот никаких. И вообще служба в армии ему нравилась, интересно было, да и знал — *надо* !

Войну они на Дальнем Востоке давно чуяли. Понимали, что не зря великих русских полководцев — Суворова и Кутузова — поминать часто стали (в школе-то на уроках истории о них не учили), ну а когда в апреле сорок первого потянулись эшелоны на запад и в мае лекцию им прочли о

«мифе непобедимости немецкой армии», тогда уж совсем ясно стало — не отслужить им мирно кадровую, придется показать немцу, что почем.

Конечно, никто в уме не держал, что так обернется. Думали, будем бить гадов на чужой территории и малой кровью. Не вышло! По-другому завертелось. И нету войне пока конца-краю, и достается на ней всем — и военным, и гражданским. Вот почему и стеснялся Сашка на ночлег набиваться. Понимал, сколько деревенькам этим ржевским довелось... Только от немца избавились, только чуток в себя приходиться стали, хозяйство поправлять, а тут течет мимо река покалеченных, и всех приюти, всех накорми, а чем?.. Это за день около сотни пройдет, а с февраля, как наступление пошло, и до сих пор сколько?

А дорога эта неторная все петляла лесом, и никакого просвета впереди. Неужто в лесу заночевать придется?

К вечеру раны начали побаливать сильнее, каждый шаг отдавался, и шли они оба, кривясь от боли, еле тяня ноги, матеря ту тетку, которая на эту дорогу их послала.

Наконец шедший немного впереди Сашкин попутчик закричал радостно: — Выходим! Слышишь, браток, выходим! Красота-то какая открывается!

Сашку раздражал он малость и своим смехом не к месту, и восклицаниями бесконечными «красота». Все у него красота: к ручью вышли — красота, на поляну какую — красота, лес вдали засинел — тоже красота! Но как узнал, что из города он, наборщик типографский, и землю-то родную только по воскресеньям видел, да не по каждым, стал понимать его вроде. Ну а то, что не в себе он после передка и ранения, ясным-ясно. Она, передовая, может довести — это не диво. Один у них совсем рехнулся, чуть отделенного не застрелил. Шут с ним, пусть радуется, что ни говори, живыми из такой заварухи вышли... Только где-то внутри посасывало у Сашки — не к добру это.

Просвет впереди ширился, и вскоре кончилась эта запала дорога, и вышли они к полю незасеянному, а за пригорком и деревуха показалась, домов в несколько, но не побитая и не сожженная. Видать, немец здесь не побывал.

С нехотью, скрепя сердце подошел Сашка к одной избе и постучался робковато. Сразу же на крыльцо вышла баба немолодая, лет тридцати пяти, глянула на них усталыми прищурными глазами и спросила:

— Переночевать, что ли?

— Да, хозяйшка. Идем весь день, а до Бабина никак не дойдем. Продпункт там у нас...

— Да до него, поди, еще верст пятнадцать.

— Неужто? Придется просить у вас ночлегу. Дальше идти сил нет, да и затемнело уже.

— Что ж, заходите... Только, ребята, вот что, место я вам предоставлю, постели устрою, но... покормить вас нечем. Может, у кого другого найдется, а у меня нету ничего. Не обессудьте.

Хотя переговоры вел не Сашка, женщина сейчас смотрела на него, видно признав в нем своего, деревенского, и искала понимания. Сашка ответил поспешно:

— Понимаем мы... Не надо нам ничего. Переможем сегодня как-нибудь...

— Не обессудьте, ребята, — повторила она, — картошки чуток осталось, на посадку только. Сами не едим, а у меня дите еще... Ну, проходите.

В доме было прибрано, полы чистые, даже на окнах занавески белые, а на кровати покрывало кружевное.

— Муж-то воюет? — спросил Сашкин однопутник.

— Воюет, ежели живой...

— А что, писем не шлет?

— Нет. Сейчас ложиться будете или погодите?

— Сейчас, только подымить выйдем.

С печки свесилась девчушка лет десяти, бледненькая, худенькая, и глядела на них внимательно, но без удивления, какими-то недетскими глазами.

— На кровати вы вдвоем не поместитесь. На полу постелю, — сказала хозяйка.

— Конечно, — заспешил Сашка, — куда нам на постель? Грязные мы больно.

Женщина, отодвинув немного стол от окна, положила на освободившееся место тюфяк, потом пару одеял старых и две подушки.

— Располагайтесь... Вот и мой небось где-нибудь по чужим домам, если живой... Только вряд ли.

— Ну почему? — заулыбался Сашкин попутчик. — Обязательно живой должен быть! Обязательно! И не думайте о плохом.

— Вам легко говорить... Вы-то живые вышли, — сказала она просто, но почудилось Сашке словно осуждение какое.

И в деревнях, что проходили они, казалось иной раз ему, что смотрят на них некоторые бабы, у которых мужья, видать, точно погибли, как-то недобро, будто думают: вы-то целехонькие идете, а наши мужики головы сложили.

На крыльце присели они на ступеньки, завернули дедовского самосада, помогая друг другу. Так же вдвоем «катюшу» запалили — один держал кресало, другой бил, — и затаились до круготы в глазах.

А из лесу по той же дороге и по другой, которая слева через поле тянулась, плелись калечные. Перед деревней приостанавливались на совет, а потом расползались по избам.

Разделись они в избе до белья, только брюки постеснялись снять, укрылись одеяльцами — тепло, сухо, а сон не идет. Бурчали пустые животы, и оттого тошнотная слабость во всем теле, вот и ворочались, кряхтели, вздыхали. И хозяйка на печи, видно, тоже не спала, тоже вздыхала.

— Хоть бы пожевать чего, — прошептал Сашкин сосед.

— Тише ты, — перебил Сашка, а сам о том же мечтал.

Сколько они без сна промаялись, сказать трудно, полчаса, час ли, только вдруг услышали, соскользнула хозяйка с печи, загремела чугунами и к ним подошла.

— Держите, пожуйте малость. А то ни у вас, ни у меня сна нету, — и сунула им в руки по две картофелины.

— Спасибо, — выдохнул Сашка и сразу зубами в теплую мякоть. Зажевал медленно, сосед тоже не спешил — знают они, как есть надо, научила передовая.

Утром, проснувшись рано, задерживаться они не стали. Поблагодарили хозяйку за хлеб-кров, мечтая, конечно, втайне, не даст ли она чего на дорогу, но она, пожелав доброго пути, отвернулась от них сразу. Попутчик Сашкин потоптался еще немного, делая вид, что одежду поправляет, но Сашка тронул его за локоть — пошли, дескать, нечего себе и хозяйке душу мытарить.

Утро не выдалось — пасмурно, небо в серых облаках, но Сашкин однопутник (Жорой его звали) воздух ноздрями потянул, расплылся в улыбке и за свое:

— Утро-то какое! Воздух! А тишина... Красота!

— Курево у нас к концу, — остудил его Сашка.

— Подумаешь, курево! Ерунда! Попросим где-нибудь табачку. Ты об этом не думай. Все это суета сует. Главное, к жизни идем, Сашка, к жизни!

— Ты почему в санроте не остался?

— Свободы, брат, захотел. Три года в армии я, все по приказу делать приходилось. А сейчас иду куда хочу. Захочу, на травке поваляюсь, захочу, в любой деревне остановлюсь, а захочу, мимо пройду. *Свобода*, брат, великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, но сам я себе хозяин, а в санроте врачей слушайся, сестер слушайся, начальство приветствуй... Понял?

— Понял, — кивнул головой Сашка.

Сегодня и у Сашки настроение куда лучше: во-первых, выспался нормально, во-вторых, часам к двум дотопают они до Бабкина и продукты получают, а потом, эта ночь чертой какой-то отчеркнула все, что в Бахмутове с ним произошло. Вернее, не отчеркнула, а отодвинула назад, словно давно, давно это было. Только временами толчками какими-то пробивалась боль в сердце, но воли ей Сашка не давал прошло это, возврата не будет, чего ж бередить напрасно...

Шли они проселками, а то и тропками, и деревень на их пути не попадалось, спросить про дорогу некого, и только к середине дня вышли они на большак к селу Луковниково. Большое село, войском заселенное. Почти у каждого дома машины стояли груженные, и шоферня вокруг них суетилась веселая чересчур, видать подвыпившая.

Подошли табачку стрелкнуть и спросить, как на Бабино пройти. Оказалось, по большаку надо, никуда не сворачивая, верст семь, совсем близко.

— Чего припухаете? — спросил Жора шоферов. — Фронт-то голодует.

— А чего мы можем, распутица. Вторую неделю пухнем.

Ну, этим-то припухать можно — с продуктами машины. И сыты, и пьяны, и нос в табаке, а тем, кто со снарядами, тем скучней, сами небось у баб картошечку выпрашивают.

По большаку идти было плохо — разбитый весь, в ямах и колдобинах, но веселей — прохожих попадалось больше. И военных, и гражданских, женщин, конечно, с ребятней. И куда бредут?

Тут увидели они, плелись им навстречу несколько лошадей тощих, каждую боец за узду вел, а на них вьюками крафт-мешки бумажные с сухарями. Ну, сколько на каждую нагрузить можно? Пудов пять, не больше. Разве таким макарон фронт снабдишь? Попонятнее стало, почему голодуха на передке. Значит, верно, распутица во всем виновата.

Бабино завиднелось издалека белой колоколенкой. Шагу они прибавить не смогли, но на душе полегчало. Подходит конец их маете. Казенного получают сейчас довольствия по полной норме и до эвакогоспиталя дойдут в сытости — милостыню просить не придется, а это самое в их пути занозное.

Вот и добрались вроде... Прошли домов несколько, ища глазами, у кого спросить, где продпункт этот. Увидели у колодца лейтенанта, тоже в руку раненного. Стоял он и поливал из ведерка кисть безжизненную медленно так, струйками. Чего это он, подивился Сашка, и подошел к нему. Тот глаза поднял:

— Попить, что ли?

— И попить можно... Спросить мы хотели...

— Сейчас освобожу ведро, — перебил лейтенант, выливая остатки воды на руку.

— Зачем это вы? — заинтересовался Сашка.

— Боль унимается. Ранен-то я в плечо, а болит кисть. Жмет, спасу нет, а водой смочишь — легчает.

— Мы спросить хотели, товарищ лейтенант, продпункт где находится?

— Продпункт? — зло засмеялся лейтенант и пошел материться, да так, что Жора от удивления рот открыл. — Был он, продпункт! Зимой! А сейчас нету, перевели куда-то!

— Как нету? — упавшим голосом прошептал Сашка.

— А так, нету, и все! — И пошел опять лейтенант матом. — Вторые сутки топаю, у баб картошечку выпрашиваю...

— И куда же его, продпункт-то? — спросил Сашка, все еще не веря, что лопнули все их надежды, и надеясь, что перевели продпункт куда-нибудь недалеко отсюда.

— А никто ни хрена не знает! Поближе к тылу, наверно.

— Что ж делать будем? — присел Сашка.

— Вы утром лопали чего? — спросил лейтенант.

— Нет.

— Я тоже. В первой же деревне жрать будем просить. Беру на себя. Не дадут так, купим. Денег у меня навалом.

— А здесь не раздобудем? — спросил Жора.

— Нет, пробовал. Тут своих вояк полно.

— Ну, что ж, пойдете, товарищ лейтенант, вместе тогда, — сказал Сашка, вставая.

— Брось ты «лейтенанта». Не в строю мы. Володькой меня звать. Из Москвы я. Вас-то как?

— Александр я, а он Жора.

— Срочную служили?

— Ага. Я с тридцать девятого, а он...

— ...с тридцать восьмого, — досказал Жора.

— Я тоже два года оттрубил рядовым. А как война началась, послали на трехмесячные и вот кубари привесили. А они мне... — махнул рукой лейтенант. — Я привык за себя отвечать, а тут всучили взвод, да почти все из запаса... В первую ночь на передке один у меня к немцам решил податься. Поймали, конечно. Перед строем хлопнули, а меня за шкуру: как ты врага не распознал? А я его, сукиного сына, только две недели и знал, как

формировались. Да и не враг он никакой, струсил, дрянь. Ну, тронулись, ребятки...

Повернули они обратно и потащились. Надо опять по большаку, а там налево будет дорога на Лужково, где этот эвакогоспиталь расположен.

Изредка обгоняли их машины. Голосовали без особой надежды, и верно, ни одна не тормознула даже.

В первой же деревне, что попалась им, когда они с большака сошли, направился лейтенант решительно к какому-то дому и, не постучав даже, вошел.

Сашка и Жора присели на завалинке. Вскоре лейтенант вышел со стариком — старым, худым, но с глазами живыми, колючими.

— Вот, трое нас только, дед. Надо нам передохнуть, поесть чего-нибудь... Ну и табачку надо...

— Только и всего? — спросил дед. — Довоевались. Хлебушка побираетесь. Что же это вас не кормят? А?

— Продпункт из Бабина выбыл, потому и требуем...

— Требуем? А какое у вас такое право требовать-то? А?

— Раненые же мы... Кровь пролили, — вступил в разговор Жора.

— А знаешь, сколько вас с февраля идет? — повернулся старик к Жоре. — И все к мужику... за хлебушком. А мужик давно вконец разоренный. Это ты понимаешь? Нет у меня, ребятки, ничего. Сам до лета вряд ли протяну. Пройдитесь по деревне, может, у кого другого и есть, может, подаст кто...

— Подаст! — вспыхнул лейтенант. — Мы не нищие какие! Вот деньги, — вытащил дрожащей рукой из кармана тридцатки. — Сколько за картошку хочешь? Одну, две? Ну, отвечай!

— Ну что мне твои деньги? Было бы что, дал бы... Идите вы от меня, и весь сказ. Докудова немца пустить решили? До Урала, что ли?

— Молчи! За такие слова... — Лейтенант задрожал весь, глаза выкатил и зашарил рукой в кармане брюк.

— Отойди, лейтенант, — встал перед ним Сашка. — Отойди! Тут другой разговор нужен.

— Солдат-то поумнее тебя будет, — сказал старик и добавил: — Послушайте лучше, чего посоветую...

— Говори, дед, и прости, с фронта мы, нервные... — подступил к нему Сашка.

— Вот это разговор другой. А то — требуем. А чего требовать? Ты спроси сперва, есть ли чего у меня. А если нету, чего требовать? Что нервные вы и перемаянные, понимаю. Не с тещиных блинов идете. Но и нас понять надо... Так вот, идите-ка на поле, там картоха, с осени не копанная. Накопайте и лепехи себе нажарьте. Поняли? Сам это жру.

— Поняли, — сказал Сашка.

— Пользы, может, и немного, но брюхо набьете, и полегчает малость. Идите. Сковороду, так и быть, дам и присолить чем.

Копали картошку руками. Слизнявые, раскисшие клубни расплзались в руках, и, как есть такое можно, вначале не представлялось, но когда выдавили из кожуры синеватую мякоть, размяли в руках, присолили и стали печь на сковороде, то уже от запаха, что шел от лепех, закружило в голове и сладко

заныло в желудке. А когда попробовали горяченьких, то Жора зачмокал и пробормотал:

— А ничего, ребята, лады! Можно сказать даже, красота!

И вправду, то, что казалось несъедобной гнилью, шло им сейчас в горло за милую душу, а если б примаслить маленько да присолить покрепче — совсем еда хорошая.

Только у лейтенанта стояли слезы в глазах, хотя и он жевал вовсю... Обидно, конечно, но что поделаешь, война...

Решили покопать еще и напечь лепех впрок, на дорогу, благо сковорода есть. Отняло у них это часа два. Когда возвращали деду сковороду и поблагодарили, тот полез за печь, достал самосаду и дал им табаку немного, но все же подковырнул:

— И махры, значит, для вас не припасли. Как дальше воевать-то будете?

— Не беспокойся, дед, провоюем и немца погоним, — сказал Сашка.

— Кабы так, все бы я простил... — вздохнул дед. Чего простил, кому, он не разъяснил. Вышли они за деревню и расположились покурить не спеша, полежать немного, разморило после еды-то.

— Значит, говоришь, погоним немца? — обратился лейтенант к Сашке, чуть усмехаясь.

— А разве не так?

Лейтенант затянулся дымком, сплюнул.

— Так-то так, только скажи, откуда у нас такая глупая уверенность? Разве ты на передке не убедился, что немец пока сильнее нас, организованнее, умелее...

— Вот именно, умеет, гад, воевать, — сказал Жора. — Только бросьте вы о войне. До сих пор в ушах звон, дайте покурить спокойно.

— Забыть хочешь? — спросил лейтенант.

— Хочу. Я тишину слушаю... — И опять блажная улыбка растянула Жорины губы.

— Недолго придется слушать. Через два месяца как штык опять на передке будешь.

— Знаю. Но думать об этом не хочу. Нам теперь часом жить надо. И если час твой — радуйся на всю железку. Давайте договоримся — о войне ни слова. Лады?

— Валяй радуйся. Долг свой ты выполнил, совесть у тебя чистая, валяй радуйся.

— Вы так говорите, лейтенант, словно завидуете. А вы тоже долг свой выполнили...

— Да иди ты к черту и с выканьем, и с лейтенантом. Сказал вам — Володька я! Так и зовите. — И лейтенант задумался, так и не ответив Жоре.

А Сашка, видя, что скребет что-то на душе лейтенанта, сказал:

— Война все спишет.

— Глупость! — взметнулся Володька. — Самая настоящая глупость. Вы рядовые, вам что, вы никого на смерть не гнали... Ничего не спишется. Всю жизнь помнить буду, как глядели на меня ребята, когда я им приказ на наступление выкладывал... Всю жизнь... — И замолк лейтенант.

Посидели они еще немного. Сашка с Жорой кое о чем еще поговорили, а Володька мусолил одну самокрутку за другой и ни слова. Но надо и идти, понежились, и хватит. Перевязки на ранах у них пожелтели, бурые пятна на них выступили, а внутри присохли и при движении об раны терли, больно было. А с этим крюком на Бабино, возней с лепехами и отдыхом после потеряли они времени много, да и шли не ходко, дойти до дотемна к этому Лужкову вряд ли удастся.

И верно, к вечеру пришлось им в какой-то безымянной деревеньке ночлега просить.

Оприютили их две женщины пожилые, сестры видимо, и приняли хорошо, участливо, про войну спрашивали, и ужинали они щами, постными, ясно, но горячими. Хлебца им дали по кусочку махонькому и по две картофелины большие. И на этом спасибо, и то здорово.

Предложили хозяйки две постели на троих (больше не было, свои уступали), но они отказались и постелились опять на полу. Спали крепко, потому как все же сытые были, хоть и не очень.

У Сашки и Жоры раны ночью прибалывали больше, а у лейтенанта наоборот, тот с утра начинал кривиться и кисть раненой руки водой примачивать.

Из этой деревни вышли они вскоре опять на большую дорогу... Тут тоже машины ходили — и газики и «ЗИСы-пятые», — но на их поднятые руки ноль внимания. А лейтенант тяжелей всех шел, красный весь, небось жар поднялся, и каждую прошедшую машину матерком провожал.

И вот один «ЗИС» порожний показался, лейтенант на дорогу вышел, руку поднял, и по лицу видно — не отступит. «ЗИС» засигналил, но скорости, лярва, не сбавил и только в шагах нескольких от лейтенанта вывернул круто в лужу огромную, обдал Володьку грязью с ног до головы и дальше покатил.

И тут лейтенант не выдержал, матюгнулся жутко, из кармана пистолет выхватил (не знали, что при оружии он) и пальнул вслед два раза, хотел, видно, по шинам, но промазал. «ЗИС» тормознул до юза, из окна кабины высунулась рожа толстая, а затем и ствол автомата...

Они замерли поневоле — чем черт не шутит, может, пьян шофер, бабахнет попугать, но ненароком и задеть может. Только Володька, пистолета не пряча, к машине поперся, шальной, право... Шофер дверцу открыл и вышел, стал баллоны задние осматривать. Ну, тогда и Сашка с Жорой тронулись.

Володька к «ЗИСу» подошел и криком:

— Ты что, гад, остановиться не можешь?! Видишь, ноги еле тянем.

— Полегче, лейтенант, и пушку спрячь, — спокойненько так сказал шофер. — Без запаски я. Пробил бы баллон, что делать, а я по заданию. Эх, надо бы по вас очередишку да в кювет загнать, может, опомнились бы...

— Голосуем, голосуем, и ни одна машина не остановится, — вступил Сашка.

— И правильно. Вы ж через полчаса обратно проситься будете.

— Это почему ж? — спросил Жора.

— А потому. Ну, ладно, залезайте, только по-быстрому.

Залезли в кузов. Жора бледный, зуб на зуб не попадает.

— Ты, лейтенант, эти штучки с пистолетом брось. На кого другого нарвался — и врезал бы. А я свои два месяца отгулять хочу.

— Не ной, отгуляешь ты свои два месяца. И бабешку какую найдешь побаловаться.

— Между прочим, — сказал Жора задумчиво, — странное дело, о женщинах совсем не думаю. И во сне не снятся.

— А с чего им сниться-то? — усмехнулся лейтенант.

— Нет, странно все же... Молодой я...

— Довела тебя, знать, Жора, передовая. Смотри, на всю жизнь можно таким остаться, — продолжал травить Володька.

— Неужто? — забеспокоился Жора. — Разве у вас не так?

— У нас? — засмеялся лейтенант. — Нам с Сашкой только подай. Верно, Сашок?

— Нет, правда? — волновался Жора.

— Ну какие бабы, Жора? Другие мысли у нас — где пожрать, где курева достать... — успокоил его Сашка.

А дорожка не приведи боже! Кидает их из стороны в сторону, и каждый толчок в ранах отдается, да еще бочка с бензином по кузову катается, то одного, то другого по ногам трахнет. Километров пять помучились, а потом застучали в кабину — давай останавливайся.

— Ну что? Говорил вам, порастрясет. По такой дороге и здоровому душу вытряхнет. Потому и не берем вас. Версты три проедете и слезаете. Только время с вами терять. А мне вот к такому-то пункту надо ровно в ноль-ноль. Поняли? — сказал шофер, нетерпеливо глядя, как они из кузова выкарабкиваются. — Ну, бывайте.

— Поняли, — вздохнули они и потопали опять пехом.

Когда мимо картофельных полей проходили, видели, как копошатся там калечные, дымят кострами. Не одни они, значит, так кормятся. Тоже какой дед надоумил, а может, своим умом дошли. В общем, эта картошечка некопаная идет в ход вовсю, помогает раненым эту дорогу выдюжить.

Пришлось им вскоре опять на лесную дорогу свернуть, от большака вправо. Сказали им, так поближе будет, верст несколько сократить можно. Но, как вошли, пожалели, что послушались. Неприятливая дорога, сумрачная... По обеим сторонам ели вековые наверху ветвями сплелись, света белого не видно.

Когда полями шли, перелесками, по опушкам, взгляду было где разгуляться. И солнце видно, и дали, и воздуху кругом полно, в общем, «красота», как Жора говорил, а здесь даже дыхание сперло — сыро, душно, смрадно. А дальше еще больше дорога поугрюмела, их передовую стала напоминать. Войско вроде зимой тут стояло, а может, и бои были, потому как валялись по сторонам каски простреленные, сумки от противогазов, ящики цинковые от патронов, обмотки ржавые, обрывки бинтов окровавленных, и даже труп один они приметили, но подходить не стали — хватит, на всю жизнь насмотрелись!

Только мысли о войне они с трудом отбросили, а дорога эта опять к ней возвратила. У лейтенанта губы сжались, взглядом в одну точку уставился, и у Сашки сердце тяжестью прихватило. Разговора не получалось — каждый свое

вспомнил. Только Жора, впереди их идущий, без внимания это оставил (наверно, нарочно) и даже насвистывал что-то, пока Сашка не крикнул ему вслед:

— Брось, Жора, свистеть!

— А что? — остановился тот.

— Место вроде не для свиста... Бои были... Люди погибали...

— Вот ты о чем, — вроде небрежно бросил Жора и пошел дальше, но насвистывать перестал.

— С него еще телячий восторг не сошел... Все радуется, что живым остался, — немного раздраженно заметил лейтенант.

Видел Сашка, что Жора лейтенанту на нервы действует — и улыбочкой своей постоянной, и охами и ахами по всякому поводу, но что поделаешь? Света и дорога и доля одинаковая — терпите, приноравливайтесь друг к другу.

Лейтенант труднее других шел. Боли его не отпускали, нерв же перебитый, а он дает боль непрестанную, только ночами отходит. Сашка поэтому равнял шаг на него, хотя и мог идти шибче. А сейчас, видя, что совсем лейтенант еле ногами переступает, предложил перекур, на что тот с радостью согласился.

Присели, завернули по сигарке, задымили... Жора из глаз скрылся, делала дорога тут поворот. Ладно, догадается, что перекуривают они, обождет.

— Лейтенант... — начал было Сашка, но тот перебил:

— Опять?

— Ну, ладно, Владимир. Давно я хотел спросить: почему ты звания командирского не хотел? Мой ротный тоже, когда кубарь ему повесили, что-то не радовался.

— Значит, не дурак твой ротный.

— Я понимаю, — сказал Сашка, — людей на смерть посылать трудно, но все же лучше такие командиры, как вы, кадровую отслужившие, чем из училища «фазаны» желторотые. Разве не так?

— Может, и так... — неохотно как-то ответил лейтенант, потом задумался и досказал не сразу: — У меня все «отцы» были во взводе из запаса, семейные все... Ох, как не хотелось им помирать. А я — вперед, мать вашу так-то, вперед! — и примолк, опять задумавшись.

Сашка помолчал немного, тоже вспомнил, как наступали...

— Приказ же, — немного погодя сказал он.

— Что приказ?.. Мне сержант мой, помкомвзвода, который на войне второй раз, советовал завести взвод за балочку и там переждать немного, чуял он, захлебнется наступление... А я ни в какую! Вперед и вперед! А ребят косит то слева, то справа. Ключья от взвода летят, а я вперед и вперед. Потом залегли, невозможно дальше было, и через минуту-две отход. Если б в этой балочке переждали, считай, полвзвода сохранил бы. Понимаешь, Сашок? И все по своей дурости, умней людей себя воображал. И помкомвзвода моего хлопнуло. Ну как после этого? А?

— Да, — протянул Сашка. — Выходит, рядовым-то спокойней?

— Еще бы. Рядовой только за себя в ответе... Да что говорить! — махнул рукой Володька. — Я тоже забыть все хочу, как и Жора, но не выходит. Наверно, на всю жизнь это...

— Так война же, Володя...

И тут грохнул впереди взрыв. Глухо так вначале, а потом раскатился эхом голосистей.

Они вскочили, не понимая — откуда, что? Самолеты вроде не гудели, от фронта далеко... И тут словно толкнуло что-то Сашку в грудь.

— Жора!!! — закричал он и бросился бегом по дороге, а за ним и побелевший лейтенант.

Поворот они проскочили, и дорога далеко видна стала, но Жоры на ней не было. Пробежали еще немного, остановились, по сторонам стали осматриваться и... увидели: слева, на прогалине, шагах в десяти от дороги, лежал Жора, опрокинутый навзничь, руки разметаны, а грудь вся в дырах... И на глазах у них расползаются на ватнике бурые пятна у дыр, и, странно очень, на неподвижном и мертвом еще движется что-то...

Улыбки уже не было на Жорином лице, только скривлены были губы в удивленной, недоуменной гримасе и обиженно приоткрыты... Чуть поодаль от его тела у ели синел подснежник. За ним-то, наверное, и свернул Жора с дороги, и словно услышал Сашка его голос: «Смотрите, ребята, цветок какой! Красота!»

Ни одна смерть на передке не ошеломяла так, как эта... Стояли они будто оглушенные, и ни одного слова не выдавливалось. Лейтенант стал как-то оседать и неуклюже опустился на корточки, прикрыв лицо трясущейся рукой, закашлялся неестественно, стремясь, видно, перебить кашлем рвущиеся из горла всхлипы. А у Сашки рука сама потянулась к ушанке, стянул он ее перед покойником, чего никогда не делали они *там*, пальцы невольно сложились щепотью и пошли ко лбу, хотя не был Сашка, конечно, верующим (в церквах, правда, бывал на панихидах, когда родственников отпевали, и там крестился, как все), и, когда коснулся лба, разомкнул пальцы и провел просто ими по волосам.

— А я все смеялся над ним... — пробормотал лейтенант сквозь кашель.

— Покури, — сказал Сашка и протянул кисет, а сам пошел за Жориной шапкой, отброшенной взрывом в сторону.

— Не ходи! — взвизгнул Володька, но Сашка не послушал, только внимательно смотрел под ноги — нет ли еще тут этих проклятых «шпрингмин», — подняв шапку, накрыл ею Жорино лицо. Вроде легче стало, а то нет мочи глядеть на скривленные Жорины губы.

Лейтенант уже выпрямился, и искурили они по сигарке, молча и стоя, а потом Сашка подошел к Жоре и, распахнув ватник, полез в карман гимнастерки — надо же документы взять, но все было порвано, измазано кровью, красноармейская книжка расползлась в Сашкиных руках.

— Медальон ищи, — сказал лейтенант, а сам отвернулся.

Смертный медальон хоть так и называется, но на медальон не похож. Поначалу выдали им такие жестяные ладанки, на шею вешать, отсюда и «медальон», наверно. А потом уж футлярчики черные из пластмассы. Сашка нашел его в кармане брюк и, развинтив, вынул оттуда желтую бумажку, в

которой и прописано все, что надо знать живым о погибшем: имя, фамилия, год рождения, каким райвоенкоматом призван, домашний адрес и группа крови по Янскому.

— Не Жора он — Григорий... — прочел Сашка.

— Спрячь. В госпиталь дойдем, напишем родным.

— Напишем... Только правды не надо.

— Конечно... Погиб смертью храбрых в боях за Родину.

— Может, лапником его закидать? — сказал Сашка.

— Не надо. Так увидит его кто, проезжая, захоронят. — Лейтенант вытащил пистолет и подошел к телу. — Ну, Жора, прости за насмешки... Не пришлось тебе в госпитале погулять. Прощай, — и выстрелил в воздух.

Негромкий звук выстрела одиноко и тоскливо прокатился эхом по лесу и иссяк где-то вдали.

Шли они дальше молча, какие тут слова... Лейтенант кусал губы, часто нападал на него кашель, и только одно вымолвил за дорогу:

— Напиться бы...

От стопки и Сашка не отказался бы — такая маета на душе. Вроде бы случайный был Жора попутчик, в боях вместе не были, а ведь так спаялись за дорогу, словно родными стали, и идти им сейчас вдвоем как-то неприятно, не хватает Жориных выкриков по поводу и без повода. Эх, Жора, Жора, не свернул бы за этим подснежником, шли бы вместе. Как же нелепо вышло. Пройти бои такие страшные, а по дороге в тыл, к жизни погибнуть...

К середине дня доплелись они до Лужкова, до эвакогоспиталя. Встретили их тут приветно. Правда, обед чуть-чуть не захватили, и терпеть им теперь до ужина. Но что делать, раз такие порядки в тылу: хоть и есть у тебя продаттестат, хоть он десять дней не использованный, но на довольствие ставят лишь с того дня, как прибыл, и за прошлое ни грамма.

Лейтенант было зашумел, чтобы пайки хлеба за обед дали, но порядки эти криком не переломаешь, да и шумел он не очень — умаян был и не до хлеба как-то сейчас, после того, как товарища они потеряли.

Зарегистрировали их и в баню направили, а там в раздевалке девчата. Как при них раздеваться? А они тут как раз им для помощи и без стеснения стаскивают с ребят гимнастерки, брюки, белье даже нижнее — и в прожарку. Ну, тут еще ничего, прикрыли срамные места руками и скорей в баню шмыгнули, а там тоже девки! И что делать? А девчата смеются — привыкли, видно, — и подходят то к одному, то к другому и мыться помогают: и спину потрут, и головы намылят. Раненные-то все больше в руки, мыться одной рукой несподручно, но неудобно при женщинах. Правда, девчата веселые, смеются: «Вы для нас сейчас не мужчины, а бойцы раненые, так что не стесняйтесь».

Только один из них бесстыжим оказался, носился по бане голый, бил себя в грудь и гоготал: «Глядите-ка на меня. Все для фронта на мне написано», — а сам, видно, и был лещеватый, а теперь мослы так и торчат и ребрышки все пересчитать можно. Чудной парень, словно чокнутый или клоуна из себя строит.

Сашке его крики и посмешки не понравились, и он подошел к нему:

— Чего изгиляешься? Над чем смеешься? Кончай базар...

А Володька-лейтенант, услышав это, крикнул:

— Дай ему, Сашок, правой, а я левой добавлю!

Тот попятился.

— Ну чего вы, ребята, посмеяться, что ли, нельзя? Да вы на меня поглядите, верно же...

— Замолкни, — перебил Сашка.

После бани направили их на перевязку. Как увидел Сашка сестренку в белых халатах, так и кольнуло сердце — нет, не ушла Зина из души... А девчата ласковые, приветливые. Разбинтовывали их раны осторожно, чтоб боль не причинить.

С лейтенантом врач долго возился и, сказав, что ранение серьезное, посоветовал ему дальше не идти, а полежать тут недельку и дожидаться транспорта (дороги вот-вот пообсохнут), но Володька ни в какую! Хочет он во что бы то ни стало до Москвы добраться и с матерью повидаться.

А Сашка здесь с удовольствием бы остался отлежаться и подкормиться, что ни говори, тяжелая выдалась им дорога, но, раз лейтенант не хочет, покидать его Сашка не будет. Может, и ему самому, пока раненый и вне строя, тоже домой махнуть? До Москвы вместе с Володькой доберется, а там недалеко. Тоже мать более двух лет не видал, и если сейчас не свидеться, то вряд ли в другой раз случай такой выпадет.

После перевязки повели их в большой дом, клуб раньше был, наверно, а там разместили на двойных нарах, но у каждого матрасик, простыня, одеяло. Лейтенанта хотели было в другую палату, командирскую, но он наотрез отказался, и лежали они теперь вместе, чистенькие после бани, на чистом белье, — красота, сказал бы Жора.

Лейтенант, полежав немного, вынул из кармана пачку тридцаток, пересчитал и, ничего Сашке не говоря, смылся. Видать, в деревню, самогону доставать.

К ужину пришел повеселевший малость и, когда стали еду разносить, вытащил из кармана бутылку мутного желтоватого самогону и одну луковицу на закуску.

— Знаешь, сколько отдал?

— Сколько?

— Пять сотен!

— Деньги-то какие по мирному времени! — удивился Сашка. — Свести на них нет, что ли?

— И то еле выпросил, за деньги-то. Если б керосинчика, говорят, или крупы какой, или что из одежки, тогда бы с радостью.

Ужин дали приличный. Ребята, кто давно здесь, говорили, что в обед и вчера и сегодня котлеты были и по стопке выдали в честь праздника — третье мая уж наступило. И сейчас каша из гречки, хлеба по полной норме, сахар к чаю. Если б не такие оголодалые были, хватило бы. Но сейчас это для них на один заглот. Как хлебушек увидели, скулы свело.

Раздобыл Сашка кружки, разлили, чокнулись... Соседи по нарам поглядывали жадно, но бутылка-то одна, на всех не поделишь.

— Жору помянем, — сказал лейтенант и всю кружку одним махом влил в себя, не поморщившись.

А Сашка выпил с трудом, еще до армии чуть этим самогоном не отравился и запаха его не терпел, но сейчас не до вкуса — забыться бы на миг, отогреть душу...

Потом за победу пили... За то, что живыми пока остались... За матерей своих выпили ждущих (это Володька предложил). Как выпили, подобрили и соседям своим ближайшим чуток налили. И потекли разговоры разные: кто про бои, кто про дом, кто про прошлую жизнь на гражданке, кто гадал, что после войны будет, и все дружно начпродов материли, потому как со жратвой везде плохо было.

Тут один лейтенанта спросил, как тот наступления их понимает, каков смысл был, все же он командир, может, ему поболее известно.

Володька задумался, потер лоб, скривил губы.

— Сам голову ломаю... Одно знаю, немцам покоя от нас не было, то в одном месте куснем, то в другом. Может, в том и смысл, что не давали ему маневра, связывали его... Так, наверное...

Сосед ответом не очень удовлетворился и пробурчал:

— Может, и так... Но людей все же много поубивало, вот что...

— На то и война, чтоб убивало, — заметил Сашка.

На том разговор этот прекратился и перешел на мелочи, которые вскоре и забылись начисто.

Утром на врачебном обходе опять доктор посоветовал лейтенанту остаться, тем более, предупредил он, до самой станции Щербово, где госпиталь, ни продпунктов, ни эвакогоспиталей других не будет. Но разве Володьку убедишь в чем. А Сашке ох как не хотелось уходить отсюда.

С ними в путь собрались еще человек десять. Уж неизвестно, по каким таким причинам они уходить решили, небось просто от фронта подальше захотелось, где и с кормежкой будет получше, и с помещением, и с уходом.

Вышли они не рано, часов в десять, после завтрака, и к другим прибиваться не стали, вдвоем-то лучше, чем табуном идти: и с ночевкой легче, и еду попросить на двоих как-то удобней.

Больше пятнадцати верст за день им теперь не одолеть и к Щербову одним переходом не попасть, где-то ночь придется проводить, где-то на ночлег проситься.

После самогона идти плохо — горло пересохло, у каждого колодца или ручья водой наливаются, а от нее слабость еще больше. Потеть стали в ватниках, а снять — не жарко, ветерок майский продувает, просквозит запросто. Это *там* никакая их простуда не брала, но то передовая! Там и захочешь приболеть, ан нет, не выходит. Там они словно железные были. А тут в мире и расслаб, и заболеть можно ненароком, и им это совсем ни к чему, им добраться до места надо.

Шли они очень неходко, версты четыре протопают — и перекур на полчаса, а то и поболее. На одном из передыхов Сашка лейтенанту про своего немца и рассказал, давно на языке вертелось, да все как-то не выходило. Володька слушал внимательно, переживал, видно, себя на место Сашки ставил, а в конце рассказа раскашлялся, этим он всегда так свое волнение скрывал.

— Ну, Сашок... Ты человек... И как ты думаешь, комбат шел к тебе, уже решив отменить свой приказ немца шлепнуть или тебя проверить?

— Тогда думал, идет меня проверять и силой заставить приказ исполнять или хлопнуть за невыполнение, а сейчас думаю, может, еще в блиндаже одумался и шел с отменой...

— Мда... случай... Дай-ка лапу, Сашка, — лейтенант протянул руку и стиснул Сашкину в крепком рукопожатии. — Я бы не смог.

— Ну да, — улыбнулся Сашка, — еще как смог бы. Непростое дело человека убить... да безоружного. И ты бы не стал... Люди же мы, не фашисты, — досказал Сашка просто, а лейтенант еще долго глядел ему в глаза с интересом, словно впервые видел, словно старался отыскать в них что-то особенное, пока Сашка не сказал: — Ну, чего на меня глаза пялишь, как на девуку. Ничего во мне нету.

Володька глаза отвел, но не раз после этого замечал на себе Сашка его взгляд, любопытствующий и уважительный.

Немного они протопали, а дню конец уже приходил... Попалась им прохожая случайная, спросили, скоро ль деревня какая. Ответила, что верстах в трех будет, но там ночлегу лучше не просить.

— Это почему же? — выкатил глаза лейтенант.

— Да побитая она вся. Фронт тут держался. В Прямухино идите, село большое, под немцем не было. Там хорошо примут.

— А до него сколько? — спросил Сашка.

— Верст семь будет...

Послушались прохожую, двинули на Прямухино. А ту деревню, ближнюю, прошли, и верно, всего три дома целых, куда уж тут на ночлег проситься... Да что говорить, насмотрелись они по дороге на многое. Обидный путь выдался. И главная обида, что продпункты эти проклятые, как нарочно, с места на место переезжают — и знать никто не знает куда. Вот и приходится картоху копать на виду у людей, а при ночевках глаза голодные прятать... И представляли они себе, каково бабонькам каждую ночь постояльцев принимать и делиться с ними последним куском... Памятник им, этим бабам из прифронтовых деревень, после войны поставить надо...

Лейтенанту Володьке, московской, городской жизнью балованному, к голоду непривычному, тяжче, конечно, ну а Сашка к невзгодам более приученный — был в детстве и недоед, а в тридцатых и голод настоящий испытал, — ему эту дорогу перемочь легче.

Подходили они к этому Прямухину, где ночевать проситься, с щемотью в сердцах — ходи опять по избам, кланяйся, проси приюта. Хорошо, что последний это ночлег, дойдут завтра до Щербова, до госпиталя настоящего, и там все законное получают — и место, и довольствие.

Начали они с краю... Домов побогаче на вид уже не выбирали, лишь бы куда приткнуться. Постучали в первый же дом. Вышла женщина рябоватая, посмотрела на них, головой покачала — небось на обтрепанные, обожженные их телогрейки, на небритые опавшие щеки — и сказала:

— К председателю идите. У нас черед установлен, кому вас, горемычных, принимать. Сегодня вроде Степанида должна...

— Порядок, значит, установили? — буркнул лейтенант.

— А как же? Вы все норовите дом поприглядней выбрать, а достаток у нас сейчас один. Это когда при мужиках были, разлились. А теперь бабы работники, вот и сравнялись все. И выходит, одни чуть ли не каждый день раненых принимают, а другим не достается.

— Где председателя искать? — спросил Володька.

— А к середке идите. Там сельсовет у нас.

— Ну, спасибо. Может, у вас и такой порядок заведен — кормить раненых?

— Конечно. На то черед и установили. С едой, конечно, у нас не очень, но что бог послал, как говорится.

Двинулись они к сельсовету, и на душе покойно, везде бы так — без мытарства, без упрасиваний.

Лейтенант губы кривить перестал и на лицо даже поживел немного.

У сельсовета народу толпилось много, женщины, конечно... Одна крикнула громко, заметив подходивших к ним Сашку и лейтенанта:

— Степанида! Принимай гостей! Пришли к тебе на постой. Где ты, Степанида?

Степанида — грузная, крупная — подошла, оглядела их и, улыбнувшись добродушно, сказала:

— Ну, пошли ко мне, герои... Как в вас душа-то держится?

— Держится покамест, — ответно улыбнулся Сашка, но тут первая женщина, которая Степаниду звала, приблизилась к ним, остановилась и странно как-то, очень внимательно осмотрела Сашку с ног до головы, а осмотрев, сказала:

— Этого ясноглазого я к себе возьму. Пойдешь, парень?

— Так с лейтенантом я...

— Ничего. Лейтенант твой к Степаниде пойдет, а ты ко мне. Он теперь тебе не начальник.

— Не в том дело, — перебил Сашка. — Вместе идем почти с самого фронта.

— Иди, иди, — усмехнулся Володька. — Раз тебе персональное приглашение, отказываться не следует.

— Если ты не возражаешь... — неуверенно произнес Сашка.

— Иди, иди. Хозяюшка-то твоя ничего... Не зря зовет.

— Ладно, ты зубы не скаль, командир, — обрезала она. — Раз зову, значит, причина есть. Понял?

— Как не понять, — опять осклабился лейтенант.

Сашка оглядел ее, статную, крутобедрую, молодую, годков на несколько только его старше, наверное, и решил:

— Согласный я, пошли...

— Видали, согласный он! — засмеялась Степанида, да и остальные бабы. — Да Пашка у нас, поди, первая красавица на деревне, а он сомневается еще.

Смутился Сашка немного от смеха бабьего, а Володька не удержался добавить:

— Смотри, Сашок, не теряйся.

На что Паша замахнулась на него рукой:

— Заткнись, лейтенант! На мужиков-то вы уже не похожие, а мысли кобелиные все оставить не можете. Куды вам не теряться? До постели бы ноги дотянули, а вы... Разве неверно говорю?

— В самую точку! — засмеялся Володька.

— То-то и оно. Пошли, парень. Зовут-то как?

— Александром, — ответил Сашка.

— Александром? — переспросила она почему-то. — Я думала, по-другому тебя кличут.

— Почему?

— А так.

Шли они к дому молча. Паша впереди, и Сашка поневоле видел, как колышутся под юбкой ядреные ее ягодицы, как поблескивают полные икры, не закрытые голенищами коротких сапог, но волнений особых вид этот у него не вызвал, только отметил в мыслях, что баба-то в самом соку и без мужика ей небось трудно.

Ввела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть, и сказала:

— Ты пока отдыхай, покури, а я через полчаса управлюсь, приду, и ужинать будем, — и ушла по своим делам.

Сашка присел на скамью, крутить сигарку начал. Покойно как-то на душе стало, размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся... Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели. Подошел Сашка ближе для разгляду — чинные, приодетые, глядели на него старики и старухи, родители или деды Пашины или мужа ее. Но все это без интереса для Сашки, а вот мужчиной в полушубке белом и шлеме красноармейском он заинтересовался. Глядел тот с фотографии весело, с улыбочкой, и папироска длинная в углу рта торчала как-то задорно, и показалось Сашке лицо его очень знакомым. Но откуда? И не сразу догадался он, что парень этот на него, Сашку, очень похожий. Такие же скулы приметные, такой же нос чуть курносый, и глаза так же широко ставлены. Усмехнулся Сашка — бывает же такое!словно брат родной или сродственник близкий, чудеса прямо.

Паша вошла, Сашкой не замеченная, и, увидев, что он фотографию разглядывает, кинула скороговоркой:

— Муж мой Максим, в финскую взятый. — А потом подошла к печи, вытащила чугунок с водой, отлила в ковшик. — Может, щетину сбреешь? Дам я тебе и помазок, и бритву.

— Хорошо бы, — провел Сашка рукой по колючему подбородку.

— Ну вот, побреешься, умоешься, и вечерять будем. Здорово голодный-то?

— Голодный, — ответил Сашка прямо.

Бритва Максимова была не ахти правленной, да и без руки левой бриться неудобно. Но все же с грехом пополам побрился Сашка. Подала ему Паша умыться и даже одеколону тройного дала подушиться. Погляделся Сашка в зеркало — никакой солидности, мальчишечье лицо совсем. Душой-то он себя старше чувствовал и удивился даже, что не очень-то изменила его

двухмесячная та мытня на передовой, только глаза сильно усталые. Паша тоже удивилась и спросила:

— С какого года ты?

— С девятнадцатого.

— Я поначалу подумала, постарше ты. А щетину сбрил — мальчишка совсем.

— А вы с какого? — задал неудобный вопрос Сашка, но Паша, не смутившись ничуть, ответила:

— С пятнадцатого я. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.

— Хорошо, Паша.

— Ты скажи, почему идете такие? Кожа да кости. Один другого краше. Не кормят вас на войне, что ли, или, пока дойдете сюда, тощаете?

Рассказал Сашка. Ну, не все, конечно. Все гражданским знать незачем, но кое-что про фронт рассказал...

— Господи ты боже мой, — запричитала Паша. — Что же это на свете делается?

— Растянулись тылы, ну и распутица, — объяснял Сашка лейтенантовыми словами, да и сам так понимал. Конечно, братву polegшую жаль до невозможности, но по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили.

Стала Паша на стол накрывать, еду выставлять. Сашка рот от удивления открыл — чего только не было. Во-первых, огурцы соленые, с детства им любимые, потом грибки с порезанным луком, потом кусок сала свиного с розовыми прожилками, лепешки ржаные с мятой картошкой посередине вместо творога и, наконец, самогона бутыл!

— У вас немца не было? — только и спросил Сашка.

— Миловал бог. Чуток не дошел.

— Я смотрю, еда у тебя больно богатая.

— Какое богатство! Я и щами тебя угощу, и на второе картошкой, жаренной с яйцами, — улыбнулась Паша, видно довольная, что есть ей чем угостить.

Налила она Сашке полный стакан граненый, а себе половину. Протянула чокнуться.

— За что выпьем-то? — спросила.

— За победу, конечно, — не замедлил Сашка с ответом.

— Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство. Небось догадался ты, почему позвала я тебя?

— Вроде.

— Похож ты на Максима. Как увидела, так и ахнула. Одно лицо. И надо же такое. Как фамилия твоя, может, каким образом сродственник ты с Максимом?

Сашка сказал.

— Нет, — другая совсем, — чуть разочарованно сказала Паша. — Пропал мой Максим. Так с финской и не отпустили. На западную границу послали. Там в первых боях и сгинул, наверно.

— Может, в плену?

— Все может. Но на Максима не похоже. Не из таких он...

— Из каких ни будь, а всякое бывает. — И рассказал Сашка, как обманули их немцы, как его напарника, с которым на посту стоял, полонили, как и сам мог попасть, задержись он с валенками. — Ты надежду не теряй, — закончил он.

— Нет, Саша, чует сердце, пропал Максим... Ты закусывай как следует, не стесняйся, — переменяла разговор Паша, а Сашка и так навалился на еду, того и другого прихватывал, не в силах удержаться, и потому, что ел много, самогон на него не очень-то подействовал.

Смог он под второе, под картошку, на сале жаренной с яйцами облитой, еще стакан опрокинуть и тут только захмелел. И стало ему так хорошо, будто в доме он родном, и Паша, сидящая напротив и ласково на него глядящая тоже показалась родной и знакомой, будто знает он ее много, много лет.

Тяжело человеку долго быть бездомленным, без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку, разоткровенничался вовсю и про все, про все стал Паше рассказывать. И про Зину не скрыл. Как бежали при бомбежках в эшелоне вместе, как простились они в Селижарове перед ночным маршем, как обещала она его ждать, как поцеловались напоследок горьким поцелуем, как думал о ней там и как встретились в санроте. Все рассказал, даже о том, что бессильным оказался, не умолчал.

Паша слушала внимательно, с сочувствием, прерывала иногда Сашкино повествование разными бабьими охами и ахами, переживала за Сашку, видать, по-настоящему

— Эх ты, бедненький, — потрепала она его по отросшему ежику волос. — Хорошо, что Зину эту не хулишь. Справедливый, значит. Вошел в ее женское положение, понял...

А Сашке захотелось вдруг уткнуться головой в Пашины колени, как маленькому, и отреветь все свои обиды, но сдержался, только взял Пашину горячую шершавую, рабочую руку и стал приглаживать пальцами. Она прильнула к нему плечом минутно и сразу отпрянула, сказав отрывисто:

— На печи спать будешь.

— Куда положишь, там и буду.

После этой ласки мимолетной стала Паша какой-то беспокойной. С печки убрала все лишнее шумно, резко, словно спешила куда.

У Сашки же глаза слипались, еле на стуле держался... В бутылки самогону еще осталось, и Паша спросила:

— Сейчас допьешь или завтра перед дорогой выпьешь?

— Можно, Паша, я лейтенанту оставляю? Боли у него сильные, особенно с утра...

— Оставь, если добрый такой, мне не жалко, — улыбнулась Паша. — Хороший он, лейтенант-то твой?

— Свойский парень. Сдружились за дорогу. Горячий только.

Постелила Паша на печке простыни и все такое.

— Залезай, — скомандовала она, и Сашка уже в полусне забрался на печь, растянулся блаженно, но тут закачалась изба, закружилась, и стало Сашку то приподнимать на высоту какую-то, то вниз с этой высоты бросать, и замутило страсть как, и забоялся он, как бы всю еду не вырвать — этого еще не хватало!

Крутился он и так и этак, чтобы тошноту перебороть, и все же переборол, свернулся калачиком и заснул.

А во сне случилось необыкновенное: ощутил вдруг он на своих губах чьи-то влажные, жаркие губы, и не понять, Зинины ли, Пашины ли? Смешалось все, перепуталось. Только запомнил он, что мешала ему все время рука его раненая...

Утром, как проснулся, вначале и решить не мог, сон ли то был или наяву? И по Пашиному виду не определишь, такая же она, как вчера, простая и приветливая, накрывает на стол завтрак и внимания вроде на Сашку не обращает.

В бутылке самогону оставалось столько же, но перед Сашкой опять стакан полный. Хотя и пить после вчерашнего не хотелось, но как от такой редкости отказаться, когда еще выпить придется, и Сашка стакан ополовинил. А на закуску опять яичница с картофелем да грибки и огурчики!

— Вот, Паша, — сказал Сашка. — Встретились мы случайно и дня вместе не пробыли, а ведь помнить тебя весь век буду...

— Брось заливать-то! Знаю я вас...

— Нет, правда, Паша. Я врать не люблю... — У Сашки приятно кружило в голове — на старые дрожжи и полстакана ударило.

Паша посмотрела на него в упор, задумалась, а потом, отвернувшись, вроде совсем безразлично спросила:

— Может, остаться хочешь? Передохнешь недельку. Фельдшер у нас есть, рану перевяжет.

— Нахлебником, что ли? Нет, Паша... И лейтенанта бросить не могу, вместе должны дойти.

— Ну что ж, воля твоя. Насчет нахлебника — ерунда. Недельку тебя покормить мне без труда, одна же я...

— Детей разве нет у тебя?

— Были бы, увидел.

— Я подумал, может, у деда с бабкой. Ты ж на работе, поди, цельный день.

— Нет, не выдались у нас с Максимом дети. Уж кто виноват, не знаю. Раньше переживала, а теперь думаю, к лучшему.

В окошко постучали.

— Наверное, дружок твой, лейтенант этот. — Паша приоткрыла дверь и крикнула: — Заходи!

Володька вошел скромненько, но все же спросил усмешливо:

— Жив мой Сашка?

— Жив! Не съели! Присаживайся. Выпить тебе оставили, — сказала Паша.

— Неужто? Этим Степанида меня не потчевала.

— Не за что было, значит. Сашку благодари. Я бы тебе, зубоскалу, ни столечки не дала.

— Выпей, Володь, — наливая полный стакан и пододвинув его лейтенанту, по-хозяйски предложил Сашка.

— И закусывай, — добавила Паша.

— Спасибо. За ваше здоровье! — Володька опрокинул стакан разом, крикнул, зажевал соленым огурчиком. — Ну как спалось, Сашок? — и подмигнул.

— Хорошо спалось, не волнуйся, — вступила Паша сразу, — и перестань лыбиться.

Лейтенант улыбку спрятал, посерьезнел, и что-то растерянное появилось в глазах.

— Ты, может, остаться решил тут? — спросил он Сашку тихо.

— Нет, Володь. Вместе путь начали, вместе и закончим.

— Если ради меня... — начал было лейтенант, но Сашка перебил:

— Давай собираться, — и поднялся.

— Уже? — потерянным голосом спросила Паша. — Погодите немного. Соберу чего-нибудь вам в дорогу. Погодите... — стала суетливо в какой-то мешочек холщовый совать вареную картошку, хлеба, сала куски...

Уходил Сашка с тоской... Паша стояла у крыльца и долго провожала их глазами, а они, пока видно было, оборачивались часто и помахивали руками.

— словно из дому ухожу, — сказал Сашка лейтенанту, когда скрылось совсем приветное это сельцо с хорошим таким прозвищем — Прямухино, скрылось навсегда, потому как вряд ли военные Сашкины дороги смогут привести его сюда когда-нибудь. Навсегда ушла из жизни и Паша, оставив только сладкую зарубину в сердце и живое, не проходящее пока ощущение теплоты и уюта.

— Приголубила, значит?

— Не в том дело... Хорошая женщина очень, сердечная. Звала остаться на недельку...

— Я догадался. Чего ж ты?

— Ни к чему это... — в раздумье ответил Сашка, а у самого не сходил с губ обжигающий жар Пашиного рта, и словно слышался ее ночной задыхающийся шепот, выговаривающий какие-то сладкие слова.

Дорога, по которой они сейчас шли, полуднела. Войско, правда, не попадалось, войско-то ночами идет, но отдельные группки военных встречались, и машин много туда-сюда сновало. Даже одного мужчину молодого в гражданском встретили, шел в плащике, и на ремешке фотоаппарат болтался, прямо чудно на него глядеть. По их разумению, вся Россия сейчас в шинели да сапоги облачена, но нет, ходят еще мужчины невоенные.

— Ну вот, вроде близится конец нашей одиссеи, — скачал лейтенант. — А если, Сашок, в госпиталь не заходить, а прямо на станцию, на поезд, и махнуть в Москву?

— Нет, Володь, передохнуть нам малость необходимо. Без этого в такой путь трогаться нельзя. Это сейчас тебе, после стопочки да еды хорошей, кажется, что силы есть, а на самом деле...

— Пожалуй, прав ты.

Вообще теперь лейтенант, после рассказа Сашкиного про немца, почти во всем с ним соглашался и перечил редко. Не стал он расспрашивать его и про ночку в Прямухине. Да и не сказал бы Сашка, он про такие дела

распространяться не любил и до сих пор не понимал, почему он перед Пашей так открылся и про Зину рассказал.

Хоть и сытые они были, но шли все равно тяжело. Последние километры всегда самые мытарные. Ведь сто верст оттопали, да на таком харче, да раненые, да после передка, на котором ни дня сна настоящего не знали. И если голод сейчас не мучил, то слабость и усталость непроходимая знать о себе давали: дыхание уже сбитое, неровное, ноги пудовые, еле передвигаешь, и одна мечта — завалиться в постель, да не на день, не на два, а на неделю целую и не вставать вовсе.

Раненых на дороге что-то мало было, растеклись по разным путям: кто в Кувшиново подался, кто в Селижарово, да и между этими станциями госпиталей, наверное, полно, туда могли пойти. Но когда железную дорогу перешли, то на тропке, что к госпиталю вела, народу калечного шло много, а у приемного пункта собралось человек тридцать. Шумела братва, торопилась оформиться скорей — время-то к ужину, как бы не опоздать!

Госпиталь оказался большой, корпусов несколько. Непонятно только, что здесь до войны было — больница или дом отдыха?

Всех вновь прибывших в большую залу направили, где были двухэтажные нары сооружены. Места почти все заняты, но Сашка с лейтенантом местечко наверху нашли, притиснулись кое-как и залегли, закури в ожидании ужина. А здесь-то, в тылу совсем, около железной дороги самой, должны покормить их хорошо. Здесь на распутицу не свалишь!

Лейтенант Володька что-то сдал совсем, почернел даже. Губы кривит, кусает, видать, рана болит очень.

Ужин принесли, и... разочарованный матерок прошелестел по нарам. Две ложки каши — и опять эта пшенка! Если б не ждали здесь еды настоящей, может, и промолчали бы, а так зашумели, галдеж подняли и стали начальство требовать. Сестры на это без внимания — привыкли небось, — но за начальством пошли.

Через некоторое время вошел в палату неведомо кто по должности, но в петлицах две шпалы, майор, значит, поднял руку, крикнул:

— Ша, товарищи, ша! В чем дело?

Но его вид братву не успокоил, а, можно сказать, наоборот, потому как был этот майор с заметным брюшком, лицо было круглое, румяное, чисто выбритое, сытое. Заорали кто во что горазд — и что кровь проливали и жизни ложили, а кое-кто в тылу на казенных харчах морды отъедает... Это уже прямо по майору били, но того это не смутило. Видно, каждая новая партия раненых так шумит, видно, он к этому привычный. И он спокойно, не повышая голоса, будто давно надоевшее, сказал поморщась:

— Ну, тише! Не все сразу. По одному говорите. Кто хочет сказать?

И тут братва замолкла, поджали хвост. Когда миром шумели, все болтать можно, все не страшно, а как поодиночке, пороху не хватило, затихли калечные.

Майор это, конечно, знал, не первый раз такое, и, отвернувшись к сестрам, стал говорить им что-то.

Но здесь Володька-лейтенант выступил (ему же больше всех надо): почему хлеба на завтрак и обед не выдали? Куда их порции хлебные пойдут? Почему такие порции — курам на смех?... Но майор перебил его сразу:

— Почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда и отправляйтесь.

— Это к делу не относится! — не сбился Володька. — Я на передке из одного котелка с бойцами хлебал, в одной цепи в атаки ходил. Какая разница, где нахожусь? За всех говорю! Почему бардак такой?

Ребята Володьку сразу поддержали, опять шум поднялся, кто-то засвистел даже, кто-то ложкой по нарам застучал — тот концерт...

— Успокойтесь, товарищи! Вы же сознательные бойцы и должны понимать... — и пошел майор про временные трудности говорить, складно говорил, как заученное и много раз повторяемое, а потом ввернул что-то, чего Сашка не разобрал точно, но вроде того, что вы, дескать, сейчас, после передовой и дороги, такие голодные, что и маму родную скушать сможете...

Здесь полетела в него тарелка с верхних нар, близко так пролетела, прямо мимо уха свистнула и о противоположную стенку разбилась вдребезги со звоном. Майор побледнел, глаза выкатил:

— Кто кинул? Отвечать!

У Сашки сердце упало. Почуял он, что кинул тарелку не кто иной, как Володька. Кто другой на такое способен? И верно, услышал за спиной шепот чей-то:

— Вроде лейтенант взмазал...

И в ответ:

— Он самый...

А майор напирал: кто да кто? Появился капитан какой-то, тоже нажал: говорите, кто это сделал?

Тишина стояла такая, что слышно было, как тяжело дышал майор, как тикали на его руке часики. Молчали все. Но это сейчас молчат, подумал Сашка, пока все вместе, табуном, а как будут вызывать по одному, кто-нибудь да расколется, и будет тогда лейтенанту вместо Москвы и отпуска трибунал!

Майор, улыбнувшись презрительно, бросил капитану:

— Трус какой-то схулиганил. Нету мужества сознаться.

Почувствовал Сашка, как Володька рукой его отодвигает, высунуться хочет, но Сашка не сдвинулся в сторону, а, наоборот, прижал его спиной, закрыл и, опережая лейтенанта, выкрикнул:

— Ну, я бросил!

— Вы? — только и сказал майор, подходя к Сашке вплотную и глядя на него снизу вверх не столько зло, сколько удивленно.

— Ну я... А что?

— Вы понимаете, что совершили? — подлетел капитан.

— А чего? Ну, не подумавши сделал... Так майор тоже, не подумавши, сказал. Значит, квиты, — спокойно так проговорил Сашка и отодвинулся в глубь нар, задвигая собой Володьку, который рычал что-то возмущенно и даже пнул Сашку кулаком в бок.

— Хулиган! — вдруг взвизгнул майор. — Разболтались на передовой! — На что Сашка резанул твердо:

— Передовую не трожьте! Мы на ней Родину защищали! Кровь пролили... И братва, услышав такие слова, опять заголосила, подняла гомон, поддерживая Сашку.

Майор отошел к капитану, пошептался с ним о чем-то, потом, повернувшись к ним, сказал спокойно и негромко:

— Отдыхайте, товарищи. Спокойной ночи. А вы, сестра, — обратился он к сестрице, — отведите лейтенанта в другую палату.

Володька слез с нар, погрозил Сашке рукой и ушел с сестрой. Ушли и капитан майором.

Народ опять загалдел, обсуждая происшедшее, кое-кто к Сашке бросился: зачем признался, дурак, судить, мол, могут, да и не ты кинул, а вообще правильно, отъели тут хари... Сашка отмалчивался, а потом сказал:

— Плевать я хотел! Дальше передка не загонят! А меня там и так ждут не дождутся.

Немного погодя вернулся лейтенант и вызвал Сашку на улицу покурить, а там навалился:

— Ты чего вылез? Тебя кто просил? Я сам за себя отвечу! Идем к майору! — и матюгом опять.

— Не суети, Володь. Думаешь, я без ума это сделал? — Сашка положил руку ему на плечо. — Подумал я... Ну, какой с меня, рядового ваньки, спрос? На меня и время тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая и передок. А ты лейтенант. С тобой разговор другой — и разжаловать могут, и под трибунал отдать. Понял? Обдумал я все, ты только не колыхайся.

— Хорошо ты меня понимаешь! Сволочь, значит, я? Ты за меня под суд, а я в кусты! Не пойдет так! — И, вырвав плечо из-под Сашкиной руки, повернулся круто и зашагал куда-то, видно, майора искать.

Догнал его Сашка:

— Погоди! Слышь, погоди! Дай досказать-то.

Лейтенант остановился:

— Ну чего?

— Не лезь на рожон. Не суети. Давай так договоримся — уж если на меня начнут дело шить, тогда поступай как знаешь, а пока подождем. Может, обойдется все. Договорились?

— Ну, ладно, если так... — закашлялся опять Володька, скрывая этим свое волнение. — Спасибо, Сашок, — протянул он ему руку и сжал Сашкину до боли.

Когда температуру на ночь мерили, у Сашки вдруг тридцать девять! То ли от раны, то ли от переживаний сегодняшних. Перевели его сразу с нар на койку, в другую комнату, где тяжелые лежали, дали лекарства какого-то...

Три дня провалялся он в жару и почти не вставал, но зато в другом пофартило ему крепко. Утром пришел к нему боец оттуда, с нар, и сказал: иди свою пайку получать. Сашка, конечно, заковылял, завтрак получил и съел положенное, а в палату вернулся — ему и тут еда! Не сняли, значит, его с довольствия там, а в этой поставили. И все три дня Сашка двойной порцией пользовался без особого зазрения совести (сколько дней у них с Володькой аттестат не отоваривался) и хлеба даже скопил граммов шестьсот, ну и махорки немного. Подвезло здорово, что ни говори!

Никто его за это время не беспокоил, никуда не вызывали, и он почти и позабыл о происшедшем. С Володькой на дню по несколько раз виделись — то он приходил в Сашкину палату, то на улице встречались. Дни начались погожие, и посиживали они на солнышке, покуривая и строя планы. Решил Сашка твердо тоже домой податься. До Москвы вместе с лейтенантом доберутся, а там уж Сашка один.

Как начнут их эвакуировать в другой какой госпиталь, должны они санкарты свои на руки получить (а этот документ теперь их единственный, без него никуда), и тогда они смогут в любом месте с поезда сойти — и в Калинин, и в Клину, а оттуда до Москвы рукой подать. Правда, врач лейтенанту сказал, что ему необходимо в нейрохирургический госпиталь, где нервы сшивают, а то быть ему без руки, отсохнуть может. Но в Москве-то такой госпиталь обязательно должен быть.

Хоть температура у Сашки давно спала, но из этой палаты, с койки его не переводили, там и оставили. Тоже хорошо, не на нарах, а на постели настоящей полеживает. Еды начало вроде хватать, все же регулярная она, три раза в день, навар хоть и не очень, но хлеба зато по полной норме. В общем, все хорошо бы было, кабы не пришла к нему старшая сестра и не пригласила за собой следовать. Сердце у Сашки екнуло. Надеялся он, что история та с тарелкой забылась, но нет, оказывается. Спрашивать сестру, куда она его ведет, он не стал — и без того ясно.

Шли они долго. Оказывается, тут, вокруг всей станции, госпиталя, и вела она его, кажись, в какой-то самый главный корпус. Там поднялись они на второй этаж и подошли к двери без всякой таблички.

Сестра постучалась и ввела Сашку в комнату, где сидел за столом лейтенант, на вид моложавый, не старше Сашки, наверно, чернявый, но глаза светлые и чуть навывкат. Пригласил он Сашку сесть, а сестре наказал в коридоре обождать. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот в бумаги уткнулся и на Сашку ноль внимания. Проманежил он его так минут пять, если не десять, а потом упер взгляд и гаркнул:

— Фамилия?

Сашка вздрогнул невольно, но ответил спокойно — и фамилию, и имя-отчество, и звание. Лейтенант взгляда не спускал, и Сашка решил, нечего с ним в переглядки играть, и опустил глаза. Лейтенант вроде доволен этим остался и остальное спрашивал уже без крика. Записав все, что положено, лейтенант опять уставился на Сашку немигающе и долго молчал, постукивая карандашом по столу. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой, да и не то видал он. Но все же подумалось Сашке, что поробее показаться будет ему на пользу, и он глазами заморгал, носом захлопал.

— Вы понимаете, что совершили? — наконец строго спросил лейтенант, не отставляя глаз.

— Виноват, товарищ лейтенант... Черт попутал. Не знаю сам, как получилось. Обидно стало, вот вгорячах, и махнул этой тарелкой... Но в майора я не хотел. Так, об пол бросил. Звону захотелось...

— Звону захотелось? — вытаращил глаза лейтенант. — Знаете, чем этот звон для вас обернется?

Сашка опять глазами захлопал, на лице жаль состроил.

— Да и врете вы все! — продолжал лейтенант.

— Чест... чистую правду говорю, — поправился Сашка, потому «честное слово» с детства для него свято, не продавал никогда и даже сейчас не мог.

— Не вы это сделали, — огорошил лейтенант Сашку и уперся опять взглядом.

У Сашки упало сердце — неужто продал кто Володьку? Но с виду не смутился, непонимающее лицо сделал и нарочито удивленно протянул:

— Разве не я? Тогда чего меня допрашиваете?

— Вы мне дурочку не валяйте! — прикрикнул лейтенант. — Советую правду говорить.

Сашка лихорадочно соображал: конечно, лейтенант до него кое-кого из ребят спрашивал, может, кто про Володьку и вякнул, но без уверенности. Чтобы все это выяснить, надо долгое дело тянуть, а Сашка тут, на месте, вину свою признает, ни от чего не отпирается. Надо свою линию гнуть, и все! Изобразив на лице покаяние, Сашка пробормотал:

— Чего мне темнить, товарищ лейтенант... Виноват, и все. Если можно простить, простите. А нельзя... ну что ж, тогда отвечать буду. Сгоряча только это сделано... в лихорадке. У меня ж тридцать девять и пять было...

— Знаю, — сказал лейтенант. — Но отвечать придется, он поднялся. — Можете идти.

— Совсем? — вскочил Сашка радостно.

— На днях вызову. Подумайте за это время, стоит ли на себя чужую вину брать.

— Есть подумать! Только вина-то моя, никуда не денешься.

— Идите.

Старшая сестра, когда Сашка вышел, посмотрела с любопытством и вроде хотела спросить его что, но поостереглась, ведь от начальника Особого отдела выходил Сашка, особенно не поспрашиваешь.

Володьке, конечно, Сашка про это ни звука.

День прошел, другой, а Сашку не вызывают... Что ни говори, на сердце все же скребло. Пусть трибунал сейчас, в войну, и не страшный, потому как все сроки передовой заменяют, а там-то — до первой крови, как ранило, так и искупил свою вину, а от передка Сашке все равно никуда не деться, как рана заживет, так и айда *туда!* Но посасывало на душе противно — сроду Сашка ни под каким судом-следствием не был, а вот довелось, кажись...

Но о сделанном он не сожалел. Он себя благоразумней Володьки считал и похитрее, может. Тот бы с этим лейтенантом из Особого схватился бы сразу, начал правоту свою доказывать, а еще, не дай бог, если б лейтенант ему чего грубое врезал, и за пистолет схватился. Он такой, Володька этот, сперва натворит чего, а потом подумает.

Вообще пистолет этот покоя Сашке не давал. Сколько раз говорил он лейтенанту: брось ты его, к лешему, зачем он тебе сейчас? А Володька только лыбился в ответ — я, говорит, с детства оружие всякое обожаю, сколько пугачей у меня было, не перечесать

фрицевскому офицеру убитому, ни в жизнь не брошу! Чудак, право. А при его характере разве можно ему оружие в кармане иметь?

Через пару дней вызвали Сашку опять... Шел он с сестрицей к тому корпусу, и на душе было смутно, кое-какой страшок примораживал сердце, только одно легчило: может, выяснится все окончательно, неизвестность-то хуже всего.

Лейтенант принял его спокойно, спросил даже, как он себя чувствует, нет ли температуры. Сашка ответил, что температура нормальная и чувствует себя ничего, отоспался чуток, передохнул, хотя со жратвой пока не достача, не хватает пока еды.

— С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы?

— Нет. В пути познакомились, — ответил с беспокойством Сашка.

— Так... — протянул лейтенант, поглядывая на Сашку как-то раздумчиво и с некоторым любопытством, без напора и зла. — Значит, только по дороге познакомились?

— Да.

— Дальше идти можешь? — перешел вдруг лейтенант на «ты».

— Куда это? — удивился Сашка.

— Ну... в другой какой эвакогоспиталь. — Тут еще больше удивился Сашка — к чему это лейтенант клонит и как на это отвечать?

— А зачем, товарищ лейтенант? — закинул осторожно Сашка.

— А затем, — постукивая карандашом и глядя на Сашку, сказал лейтенант, — чтоб духу твоего здесь не было! Понял?

— Понял! — радостно воскликнул Сашка. — Я, товарищ лейтенант, домой задумал, мать повидать, пока вне строя. С тридцать девятого служу. Значит, можно?

— Держи свою санкарту и мотай куда хочешь — домой ли, в другой госпиталь, но чтоб я тебя здесь больше не видел. Ясно?

— Ясно, товарищ лейтенант! Значит, не будут меня судить?

— Я сказал — мотай, да поскорей. И без болтовни. По-тихому.

— Понятно! Сегодня после обеда и махну.

— И смотри, — погрозил лейтенант рукой, — чтоб таких эксцессов больше не повторялось. Скажи своему лейтенанту. Распустились там, думаете, все теперь можно... Иди.

Сашка подскочил резво, повернулся по-строевому, но когда из дверей выходил, улыбку спрятал и к сестре подошел с видом безразличным. Зато к лейтенанту Володьке мчал на рысях.

Хоть и понял Сашка по последним словам лейтенанта, что догадался тот про Володьку, но, видно, Сашкино дело ему было легче закрыть, потому и не стал особо разбираться, только дал Сашке понять напоследок, что правду-то он знает, что обвести его Сашке не удалось. Да не важно это, главное, закончилось все благополучно.

— Понимаешь, — говорил он Володьке, отведя того в сторону, — я с лей

Володька хлопнул его по спине сильно, даже покачнулся Сашка, закашлялся опять, хотел было что-то сказать, но, махнув рукой, отвернулся, потер глаза и только потом, немного успокоившись, сказал дрогнувшим голосом:

— Я, Сашка, ничего не боюсь — ни трибунала, ни передка, но, когда бросил эту тарелку, опомнился — мать же меня ждет, а я по своей глупости встречи ее лишаю. Ведь ребята мои наверняка отписали ей, что ранило меня, мы ж *там* адресами менялись. И будет она меня ждать... Да что говорить, должник я твой на всю жизнь...

— Чего там, — махнул рукой Сашка, — обошлось, и ладно.

— Я к врачу побегу за санкарточкой. Вместе отсюда и смотаемся, — и убежал.

А Сашка, завернув сигарку, закурил неспешно, и легко у него на душе, спокойно. Что ни крути, а история эта нервишек стоила, если по-честному, то совсем не «наплевать» было Сашке.

Вскоре вернулся Володька, расстроенный и обескураженный — не дал ему врач санкарту, не отпускает, — и опять матюжком зашелся. Тут Сашка не выдержал, давно на языке вертелось:

— Что ты, Володь, все матом и матом? Я из деревни и то такого не слыхивал. Нехорошо так, к каждому слову.

Лейтенант рассмеялся:

— Прав, Сашок, нехорошо. Но я ж с Марьиной Рощи...

— Что это за роща такая? — удивился Сашка.

— Район такой в Москве... Понимаешь, со шпаной приходилось водиться. А с ней — кто позакывристей завернет, тот и свой в доску... А вообще-то я сын интеллигентных родителей...

— Я и вижу, не идет к тебе мат.

— Знаешь что, черт с ней, с этой санкартой, мотанем без нее!

— Нет уж, Володь, больше глупостей я тебе делать не дам. Хватит, — солидно так произнес Сашка.

Лейтенант опять рассмеялся и хлопнул Сашку по плечу:

— Во каким командиром стал, Сашок...

— Не командиром, а постарше я тебя на два годика. Ты жеребчик еще не объезженный, горячий больно, а я в жизни поболее тебя видал, потому и...

— Ладно, — перебил Володька, — согласен. Прав ты, как всегда.

— Придется нам расставаться, Володь, ничего не поделаешь.

Тогда нацарапал на бумажке лейтенант свой адрес московский и наказал Сашке обязательно к его матери зайти и все, все рассказать подробно. В крайнем случае, опустить его письмо в Москве, если какие-то обстоятельства за

выходило, что отпустил он Сашку не совсем официально, а, видать, на свой страх и риск. За это, конечно, Сашка ему благодарен по гроб жизни, но на продпункты ему рассчитывать нечего. И решил он пойти на поле и картошки накопать да лепехи на всякий случай напечь, какой-то НЗ себе на дорогу сотворить.

Поле было недалеко, и раненых там копошилось порядком. Не хватало ребятам жратвы, особенно в первые деньки, вот и добывали себе доппаек. Кто неделю-полторы пробыл, те не копали. Все же еда три раза, жить можно, с передком не сравнить.

Накопал себе Сашка клубней, примостился к одному костерику, где братва себе лепехи жарила, и, когда кончили они, стал сам кухарничать. Сольцы-то на кухне спроворил.

Уходить он после обеда надумал — надо же последнее казенное питание использовать. Поскольку вещевого мешка у него не было, сгодились Пашина котомка, в которую и уложил свои запасы, а укладывая, Пашу вспомнил, и вдруг подумалось: а что, если ночь та с последствиями окажется, вдруг забеременеет Паша? А он и знать не будет, что станет у него сын или дочь в какой-то деревне Прямухино... Даже фамилии Пашиной не знает, и письма не напишешь... И решил он твердо: жив останется, обязательно в это Прямухино приедет, навестит Пашу. И, если взаправду ребенок у него окажется, тогда... тогда думать надо, что делать. Может, и женится на ней, если Максим ее не вернется.

Но это, если жив останется... Конечно, надежду на это Сашка никогда не терял — так уж устроен человек, — даже в самые лихие минуты. Но, если потрезвому разобраться, война долгая предстоит и надежи на жизнь маловато... Ладно, чего об этом думать.

После обеда (а в обед ему повезло, один тяжелораненный от супа отказался и Сашке отдал) собрал Сашка нехитрые свои пожитки и тронулся в путь-дорогу. Лейтенант Володька, конечно, пошел проводить его до станции.

Шли молча... Какие слова, когда навек расставаться приходится. Вот так на войне... Потому и дороги встречи с хорошими людьми, потому и горьки так расставания — навсегда же! Если и живыми останутся, то все равно вряд ли сведет их опять судьба, а жаль...

Лейтенант губы кривил, покашливал всю дорогу, глаза протирал... Нервишки у него совсем разошлись от болей постоянных, да и с Сашкой, видать, расставаться не хочется... Вот и станция близко. Остановились они. Целоваться, конечно, не стали — мужчины же, — но приобняли друг друга здоровыми руками, похлопали по спинам и... разошлись.

Опять бездомел Сашка... Вышел к станции, поездов уйма. Надо разобраться, который куда, а то ненароком обратно к фронту поедешь. Тут эшелон подошел. Красноармейцы в вагонах чистенькие, обмундирование новенькое, оружие блестит, лица румяные, сытые, и к Сашке: как там немец, браток? Табачку предлагают. От табака Сашка не отказался, а на вопросы отвечал уклончиво, дескать, приедете на фронт, сами немца пощупаете, но вообще-то немец уже не тот, приослаб малость, но кусается еще, г

Тут какой-то состав буферами лязгнул, и Сашка, не теряя времени, вскочил на тормозную площадку и ребятам в эшелоне помахал рукой — счастливо воевать, братва! — и разъехались.

И пожалел их Сашка от души — что-то ребят ждет, какие бои предстоят, какие деревни ржевские будут брать?

Колеса застучали чаще, поезд ходу дал, и мелькнули слева здания, где госпиталь расположен, где Володька-лейтенант остался, а дальше пошли места уже незнакомые — леса, поля, перелески... По этой дороге Сашка и на фронт ехал, но проезжал ночью, потому и не видел Торжок разбомбленный, который к концу дня проплыл мимо, краснея развороченными кирпичами, будто ранами. Поезд постоял тут немного, и Сашка прошелся вдоль вагонов в надежде место поудобней найти, в какой вагон забраться, но вагоны закрыты все были, и пришлось опять на площадку.

Ночь застала Сашку в пути. Не повезло. Площадка эта тормозная почему-то без скамейки была, днем-то Сашка на ступеньках посиживал, а ночью того не сделаешь, чего доброго, задремлешь и загремишь вниз под насыпь. Приспособился он прямо на полу, но тряска в руке такой болью отдавала, что заснуть не вышло, так, дремалось чуть. И тьма крошечная вокруг (маскировка же везде) тоску нагоняла в душу, и одиноко стало Сашке, о Володьке сразу вспомнилось — как хорошо вдвоем-то было, прижались бы друг к другу, согрелись, ну и разговором тоску разогнали, путь скоротали.

К Калинин подъехал состав на рассвете, но от вокзала остановился далеко, и пошел Сашка по путям к станции. Здесь и пассажирские поезда стояли, возможно, ходят они до Москвы, тогда бы по-людски поехал, в настоящем вагоне — не в телятнике, не на площадке.

На вокзале народу много — и военных, и гражданских, — хоть время и раннее. Тут, наверно, и кипятком разжиться можно, а хорошо бы, иззябся Сашка за ночь основательно. С кипятком и хлеба можно пожевать — лепехи-то картофельные, НЗ свой особый, Сашка по дороге улопал, не сдержался.

Люди на станции, хоть и занятые своими делами, на Сашку все же кидали любопытные взгляды. Тут таких — прямо *оттуда*, войной перемолотых — вроде не было. Красноармейцы все справные, в обмундировании хорошем, а то и новом. Сашке даже малость неудобно стало, что грязный он такой да оборванный. Хорошо еще, что после бани и прожарки одежды насекомых на нем поменело, но все же, заразы, дают о себе знать — покусывают. Поэтому выбрал он себе местечко в стороне, побезлюдней где. Там кипятку и попил. Пришлось два кусочка сахара употребить и одну пайку хлеба съесть — большего он себе не позволил.

Узнал Сашка, что пассажирский поезд на Москву, точнее, до Клина только, пойдет в середине дня. Времени еще много, можно поспать маленько, передохнуть. В Клину, сказали, надо на другой поезд пересаживаться, хорошо бы так угадать — приехать в Клин и сразу на московский пересест, но это как случится, расписания твердого нет, и никто того не знает

всю мочь, глаза прикрыл... Сколько же ему отдыхать нужно, чтобы эту ослабу перестать чувствовать. Неделю, две, а может, и месяц целый?

Так и задремал он с сигаркой непотухшей, и вдруг перед ним словно наяву лицо Зинино и голос ее ласковый: «Родненький». Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье, да не одно, а два целых. Очнулся Сашка совсем и увидел, наклонились над ним две девчушки в военной форме, и одна осторожненько так до его плеча дотронулась и сказала:

— Извините, что разбудили вас, но у нас поезд вот-вот уходит... Вам хлеба не нужно?

— Что? Хлеба? — восторженно вскрикнул Сашка. — Сколько стоит? — и полез в карман, зашелестел Володькиными тридцатками.

— Что вы? — улыбнулась другая. — Не продаем мы, что вы! Мобилизованные мы, из Москвы в часть едем. Ну, нам наши мамы на дорогу дали продуктов разных, а мы тут в продпункте еще получили. Куда нам столько? Ну, мы и решили... Вы с фронта же? — робко спросила под конец.

— С фронта.

— Мы видим, раненый... Ну вот и хотим с вами поделиться...

Тут у Сашки комок к горлу, глаза повлажнели, как бы слезу не пустить сейчас перед девчатами, еле «спасибо» выдавил.

— Мы принесем сейчас! — сказали девушки и убежали.

Слава богу, дали время в себя прийти. Скривился Сашка, будто от боли, подбородок свой небритый в кулаке мнет, глаза протирает, чтоб не заметили девчушки его состояния, когда вернутся... Неудобно же, фронтовик он, боец...

Они прибежали скоро — ладные, раздвоенные от бега, пилотки у них чуть набекрень, талии осиные брезентовыми красноармейскими ремнями перетянуты, шинельки подогнаны, и пахнет от них духами, москвички, одним словом... Принесли Сашке кружку кипятку, в которую при нем сахара куса четыре бухнули, буханку хлеба серого московского, точнее, не буханку, а батон такой большой, несколько пачек концентратов из вещмешка достали (причем гречку!) и, наконец, колбасы полукопченой около килограмма.

— Вы ешьте, ешьте... — говорили они, разрезая батон, колбасу и протягивая ему бутерброды, а он от умиления и расстройства и есть-то не может.

А тут сели они около Сашки с обеих сторон. От одной отодвинется — к другой вплотную, как бы не набрались от него. И ерзал Сашка, а им, конечно, и в голову не приходит, чего он от них все двигается. Хлопочут около Сашки, потчуют —

И Сашка, глядя на них, улыбнулся невольно, но горькая вышла улыбка — не знают еще эти девчушки ничего, приманчива для них война, как на приключение какое смотрят, а война-то совсем другое...

То ли заметили девушки в Сашкиных глазах горечь, то ли просто так, но смех вдруг сразу оборвали, а потом одна из них спросила тихо:

— Вас сильно ранило?

— Да нет. Двумя пулями, правда, но кость не задетая.

— А немцев вы видели? — спросила другая.

— Как вас сейчас.

— Неужто? Так близко?

— Куда ближе... Дрался я с ним... в плен брал.

— Он вас и ранил?

— Нет, меня снайпер подцепил.

У девушек глаза расширились, и как-то по-другому оглядели они Сашку и остановили взгляд на его ушанке, пулей пробитой. Сашка улыбнулся, снял шапку.

— Вот видите, чуть пониже, и... — сказал не рисуясь, просто.

Девушки замолчали, обдул, видно, холодок души, приморозил губы.

Потом одна из них, глядя прямо Сашке в глаза, спросила:

— Скажите... Только правду, обязательно правду. Там страшно?

— Страшно, девушки, — ответил Сашка очень серьезно. — И знать вам это надо... чтоб готовы были.

— Мы понимаем, понимаем...

Поднялись они, стали прощаться, поезд их вот-вот должен отойти. Руки протянули, а Сашка свою и подать стесняется — черная, обожженная, грязная, — но они на это без внимания, жмут своими тонкими пальцами, с которых еще маникюр не сошел, шершавую Сашкину лапу, скорейшего выздоровления желают, а у Сашки сердце кровью обливается: что-то с этими славными девчушками станет, какая судьба их ждет фронтовая?

И вот опять прощание с людьми хорошими... Сколько их на Сашкиной дороге за последние дни было? И со всеми навсегда расставался. Только и знает, что Тоней одну зовут, а ведь в сердце навсегда останутся.

Он смотрел им вслед, на фигурки их легкие, и опять комок к горлу подошел: милые вы девчушки, живыми останьтесь только... живыми... и непокалеченными, конечно... Это нам, мужикам, без руки, без ноги прожить еще можно, а каково вам такими остаться?..

мытарился. Ехали они до Клина до самого вечера, а всего тут восемьдесят километров.

В Клину поезд московский уже стоял на платформе, но народу около него толкалось поболее, чем в Калининe, не пробиться ему с его рукой, подумал Сашка, но тут кто-то крикнул: «Раненого пропустите! Иди, парень!» — и расступились люди, дали пройти Сашке к самым дверям. Приметил он, чем дальше от фронта, тем к раненым сочувствия больше. Это и понятно, пореже их тут встречается.

В общем, досталось Сашке лежачее место, да не на третьей полке, которая для багажа, а на второй, откуда и в окошко смотреть можно, и дышать легче.

Растянулся Сашка... Хотел было котомочку Пашину под голову положить, но отставил — хлеб примять можно и батон тот серый, что девчата дали. Прошло по душе теплом, вспомнил девчушек этих милых. С такими припасами дорога ему не страшна, суток на пять хватит, если с умом пользоваться.

В вагоне было тепло, от народа, конечно, и снял Сашка свою телогрейку, всякие виды выдавшую, под Голову положил. Гимнастерка суконная у него совсем приличная, на формировании даденная, только рукав попорчен, и почувствовал себя Сашка по-другому, словно приоделся. Брюки ватные, конечно, никуда не годятся, на коленках дыры, вата торчит, во многих местах сожженные, но что поделаешь, с передовой же он...

Когда сигарку завертывал, с нижнего места пожилой один, рабочий с виду, попросил у Сашки:

— Махорочкой не богат, солдат?

— Угощу, — ответил он охотно, но обращение такое его удивило немного — какой он солдат? Боец он Красной Армии!

Разговорились за куревом... Спросил тот, где воевал Сашка, большие ли бои были. Сашка распространяться особо не стал — были бои местного значения, но досталось все же. Рабочий головой покачал и повторил:

— Местного значения, говоришь? Это, значит, техникой не баловали, больше на винтовочку небось надеялись? Так ли я понимаю — бои местного значения?

— Об этом, папаша, не положено. Что было, то было... Но угадал почти.

Рабочий усмехнулся:

— Угадать не сложно. Достаточно на тебя посмотреть. А как кормили-то?

— Распутица...

— И это понятно, — усмехнулся опять попутчик, но тему переменял.

О филичевом табаке заговорил, который выдают им сейчас вместо папирос и махорки и который

а чистое оно и зеленое от озими, но перегораживает его почему-то речка какая-то. и до самого Овсянникова не дойти, а так охота туда добраться, самому посмотреть и Зине показать, как там немцы устроились, почему взять его не удалось, но речка не пускает... Тут его и разбудил сосед:

— Знаешь что, сынок? Ты лучше до самой Москвы не доезжай. Здесь сойди.

— Почему же?

— Проверка документов на вокзале...

— Ну и что? У меня санкарта законная. Все заполнено — где ранило, какие эвакогоспитали проходил... Печати везде...

— Да я в том не сомневаюсь. Но все равно задержать могут и в военно-пересыльный пункт направить. А оттуда сунут в госпиталь, домой и не попадешь. Тебе мой совет — сходи в Останкино, это Москва уже, только окраина. Там на трамвай сядешь и куда хочешь доберешься. Тебе с Казанского надо? Так вот, туда тоже не ходи, а доезжай до Москвы-третьей, что ли, а там уж на любой поезд, что в твою сторону. Понял меня?

— Понял. Спасибо за разъяснения. Мне, конечно, в пересылку ни к чему...

Поезд уже замедлял ход перед этим Останкином, и Сашка слез с полки, угостил рабочего табачком напоследок и, наскоро попрощавшись, двинулся к выходу.

— Счастливого тебе пути, солдат. И главное — живым остаться, — услышал он вслед.

В проходе толпилось чуть ли не полвагона, многие здесь выходить надумали, наверное, все те, кому проверка документов ни к чему, а поезд стоял недолго, и Сашка уже на ходу выпрыгнул.

Постоял он на перроне, огляделся — неужто Москва, столица Родины! Думал ли он, гадал *там*, под ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз, думал ли, гадал, что *живым* останется и что Москву видит?

Прямо диво случилось, и не верится, наяву ли?

И это ощущение чуда не покидало Сашку, пока шел к тамвайному кругу, обгоняемый спешащими на работу людьми, людьми самыми обыкновенными, только не для Сашки, потому как были они в гражданском — кто в пиджаках, кто в куртках, кто в плащиках, — и в руках у них не оружие, а у кого портфели, у кого свертки, и у каждого почти утренняя газета из кармана торчит.

Ну, а о женщинах и девушках и говорить не приходится — стучат каблучками туфелек, кто в юбке и кофточке, кто в платице пестром, и кажутся они Сашке нарядными, праздничными, будто из мира совсем другого, для него почти забытого, а теперь каким-то чудом вернувшегося.

</

И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной, обожженной телогрейки, своей ушанки простреленной с торчащими клоками ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью обмоток и даже «катюши» своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.